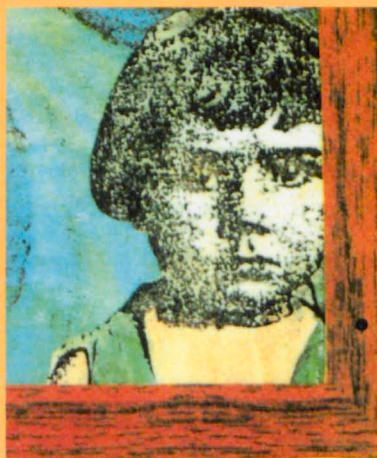


Кохава (Стелла) Цур

# Доколе не взойдет утренняя звезда

Рассказ еврейской девушки из Польши



**Кохава (Стелла) Цур**

**Доколе не взойдет утренняя звезда**  
**Рассказ еврейской девушки из Польши**

От всего сердца благодарю всех, кто помогал мне в переводе,  
редактировании и издании этой книги : Татьяну Троян, д-ра Авнера  
Лохата, сестру Элу, Люцию, Риту Гольдман и Людмилу Ольшански.

Все права принадлежат автору Кохаве (Стелле) Цур, ул.Швиль  
Иерушалми 60 гимель, Хайфа, тел: 04-8327262.

Любое воспроизведение, копирование, запись или перевод книги  
возможны только с письменного разрешения автора.



## ГЛАВА 1

В 1945 году я прочла в газете стихи. Я не запомнила имени автора, но стихи остались в памяти.

Год 41-й, декабрь на дворе,

Тенью встал крест за древесным стволом.

Ночь разорвал испуганный крик:

Он, - прижавший руку к губам, -

С босыми ногами,

И с желтой звездой на плече, -

Страдает от голода, и излечить его

Может только хлеба кусок.

Но заперты двери, и ни одна

Не распахнулась навстречу ему:

Как воры, все они прочь бегут ...

По небу месяц кружит, как жандарм.

Во тьме на листе проступает пятно.

В памяти неизгладимо оно. От него

Вовек не избавиться нам теперь.

Здесь мне четыре года



בת ארבע שנים (1929)

This photo presents my daughter  
of 4 years of name Stella.

Photos of me and my wife  
I shall send you on request. —

with regards  
Yours  
Sholem  
S. Liberman  
Lodz, Czeglizna 14 n. 21

Мой прадед, дед моей матери, владел тремя деревнями в окрестностях  
Бела Подлеска, в районе Кобылины в Польше. Сельским хозяйством он не

занимался, сдавал поля в аренду окрестным крестьянам. Польский помещик предложил ему обменяться землями и обманул, подсунув два акра бесплодных песков, вместо одного акра плодородной земли, так что прадед мой разорился.

Его сына, Элиезера Перельмана, интересовали, в основном, дела небесные: он принадлежал к одному из известных хасидских течений в Восточной Польше. Главной его заботой было, согласно семейным традициям, воспитание троих детей; все остальное ложилось на плечи бабушки. Религиозный уклад отводил ей роль "эшет хайл" – женщины, обладающей всеми умениями и способностями, необходимыми для создания истинно еврейского домашнего очага, и трудящейся «в поте лица своего» для его поддержания.

Мать моя, Хая-Гитла, пережила три войны: японскую и две мировые. Во время Первой мировой была убита бабушка. Она погибла при попытке пронести контрабандой сыр, чтобы прокормить семью. В 18-летнем возрасте умер мамин брат. С дедом в Лосице, еврейском местечке недалеко от Буга, осталась старшая дочь Ривка, единственная верующая из детей. Младшая же дочь, моя мама, десяти лет от роду, сбежала из дому в город Модры и там работала в лавке своего дяди, потому что никак не могла взять в толк, отчего это всемогущий Бог, которому молится отец, требует соблюдения такого количества мелочных предписаний. Дед прозвал ее "эпикорус", т.е. "эпикуреец – так называли нерелигиозных евреев, и зажигал вместо нее субботние свечи, потому что знал, что сама-то она их зажигать ни за что не будет. Когда ей исполнилось 18, она переехала в Варшаву, к тетке, работавшей на фабрике и жившей в темном сыром подвале. Пока тетка была на работе, мама оклеила стены белыми обоями и превратила каморку во "дворец". К тому времени у нее уже успела сложиться своя жизненная философия: "Хочешь хорошо жить с людьми –



так пусть им с тобой будет хорошо". У нее я училась забывать о себе и жить для других.

Хае-Гитле пришлось пойти работать на фабрику, а через некоторое время она смогла обзавестись и своей собственной квартирой. Дверь ее была всегда и для всех открыта. Заработав днем полбуханки хлеба, уже к вечеру она делила ее с друзьями. Добудет на следующий день еще полбуханки – и это поделит. Но дороже хлеба была ей правда. Во многие организации пробовала она вступать: сионистские, ревизионистские, социалистические, но всякий раз разочаровывалась, оставаясь неудовлетворенной. И хоть считалась она неверующей, один из близких друзей, Жак, всегда говорил, что у нее есть своя собственная религия: безудержное и беспощадное правдолюбие.

Однажды в театре она встретила человека по имени Соломон Зильберштейн (он был старше ее на 6 лет, но выглядел моложе своего возраста) – человека порядочного, культурного, интеллигентного и, в значительной степени, ассимилированного, вошедшего в польское общество. Отец Соломона, Абрам, умер от сердечного приступа, когда мальчику исполнилось 14 лет. Мать нашла его на диване с рукой, лежащей на сердце, она думала, что он просто заснул и попросила Соломона разбудить отца, но мальчик не решался. Тогда она сама подошла к мужу и увидела, что тот мертв. Матери, домохозяйке, не по силам было содержать семью; пришлось эту задачу взять на себя Соломону и его 16-летней сестре Эстер. Сами они в школу ходить больше не могли, но сумели дать образование младшим братьям и сестрам. У Эстер была огромная, тяжелая пишущая машинка, которую швейцар каждый день носил за ней в контору и обратно, потому что она ни за что не соглашалась с ней расстаться. Соломон брался за всякую работу, в том числе и служил рассыльным. Его младший брат Бернард, которому было тогда 11 лет, стал бухгалтером и администратором, десятилетняя в то время сестра Заля –

секретарем юриста, пятилетний Вилус – предпринимателем, а двенадцатилетняя Хеля – портнихой - она открыла свое ателье.

Мать Соломона была верующей и всю жизнь соблюдала традиции, в том числе и обычай в ночь Песаха открывать двери дома для Пророка Илии, приглашая его разделить праздничную трапезу. После смерти мужа она сама исполняла обязанности главы семьи. И вот однажды, во время праздника, она, как положено, распахнула дверь и ... чуть не упала: на пороге и впрямь стояла фигура в белых одеждах...

На другой день Соломону здорово влетело от дяди за эту проделку. Живой и непоседливый мальчишка, он уже тогда считал себя атеистом; увлекался кинематографическими экспериментами, монтировал фильмы, импровизировал сцены с занавесом и актерами. Давал после работы уроки немецкого языка в обмен на уроки русского, самостоятельно изучил французский и английский, писал прекрасные письма. И умная, непосредственная девушка, которая стала потом моей матерью, полюбила его.

Перед обручением она повезла его в Лоцице, к своей родне, и познакомила с целой кучей "страшных" старых теток в париках, она считала нечестным не сделать этого. 1 января 1925 г. к Соломону приехала его тетя, и он в тот же день, не спрашивая даже согласия невесты, объявил о своей женитьбе. Найти квартиру им удалось лишь два месяца спустя.

Я родилась точно в срок, а точнее 29 ноября 1925 года. Мама хотела дочку, потому что рождение мальчика грозило бы семейной ссорой: отец – Северин, как она предпочитала его называть – не разрешил бы обрезать сына, чем, конечно, причинил бы большое горе деду. Меня должны были назвать Эстер – по бабушке, маминой маме, как того требовал обычай, но отец захотел дать мне имя "вненациональное" и назвал меня Стеллой, прочитав в словаре, что оно, как и "Эстер", тоже означает "звезда".

Когда мне исполнилось 4 года, скоропостижно умерла мамина сестра Ривка, а через три недели от горя скончался дед. На похороны в Лосице мы не успели – мама была больна, а позже, когда приехали, мама много плакала; я плакала вместе с ней, сама не зная, почему.

Бабушкина родня расспрашивала меня, зажигает ли мама субботние свечи, а я отвечала: "Зачем же свечи – у нас электричество есть".

Мама считала, что искать свою веру я должна сама, она не вкладывала в мое сознание никаких религиозных представлений, я никогда не молилась, не участвовала ни в каких обрядах. Родители растили меня по учению Руссо из книги "Эмил" и верили, что я "табула раза". Но на самом деле все было иначе.

Однажды мама ушла к соседке и оставила на столе пакетик масла. Я съела его, а потом сказала маме, что масло съела собака. Извиняться я тогда еще не умела, просто сказала, как всегда: "Можешь меня побить, только не кричи на меня". Мне никто никогда не рассказывал сказок, говорили только о том, что есть на самом деле, так что я и представить себе не могла, что существует что-то такое, что разумом постичь невозможно.

Отец был для меня воплощением справедливости и силы, мама – воплощением женственности: хрупкая и нежная, как цветок. О Боге разговоров у нас в доме не было – я и не подозревала, что Он существует. Вместо религиозных наставлений меня поднимали в 4 утра, чтобы показать восход солнца. Я любила природу, любила красоту и не ощущала никакой потребности обратиться к их Творцу. На природе я всегда становилась спокойнее и лучше.

Я всегда искала себе друзей среди тех, кого считала умными детьми. Тола была в нашем классе самая умная, писала прекрасные стихи. После школы мы часами гуляли вместе, говорили и не могли наговориться. На столе у меня всегда оказывались книжки, от которых совершенно



невозможно было оторваться. На уроки совсем не оставалось времени, и, ложась спать, я старалась не думать о завтрашнем дне. На завтра, на переменке, я быстро списывала у кого-нибудь вчерашнее задание и с ужасом повторяла про себя: "Только бы не вызвали!" Это, конечно, несколько усложняло мне жизнь.

Никогда не было ощущения, что я какая-то другая, не такая, как все. Польские и еврейские дети играли вместе. Правда, меня всегда тянуло к бедным, я любила и понимала их.

Может, я и вправду "витала в облаках", не спускаясь на грешную землю? Всерьез столкнуться с реальной действительностью мне пришлось лишь во время войны.

Ребята спрашивали меня, не хочу ли я стать королевой. "Нет, - отвечала я, - я хочу стать мамой, и чтоб у меня было много-много детей". "А ты полька или еврейка?", спрашивали они. "Не знаю... я у Хельманов квартирантка".

Через полгода после моего рождения мама заболела туберкулезом, и отец, чтобы оплатить лечение, стал работать на двух работах сразу. В результате меня смогли отдать в очень дорогой и хороший частный пансион, носивший имя Элизы Ожешковой, известной писательницы эпохи позитивизма. Как я понимаю теперь, это была польская школа для еврейских детей, и в Йом Кипур, – самый святой день иудейского календаря – только мой отец, не признававший никаких религиозных праздников, посылал меня в школу, и я оказывалась там единственной ученицей в классе. До третьего класса я никогда не сталкивалась с антисемитизмом, чувствовала себя такой же, как и все окружающие, хотела вырасти «просто хорошим человеком», – мне и в голову не приходило, что может быть иначе. Правда, мама иногда пела грустные еврейские песни.

Последние пять лет мы проводили лето в Отвоцке. Там было много лесов, мама говорила, что понимает язык деревьев.



Когда я перешла во второй класс, по всей стране начали снижать работникам зарплату; пришлось отцу просить, чтобы мне снизили плату за обучение, и я как-то сразу оказалась бедной среди богатых. Однажды, войдя в класс, я забыла закрыть за собой дверь. Эрна, дочь богатого промышленника, громко сказала: "С каких это пор нищим лакеи требуются?" Я сделала вид, что не слышу, но с тех пор во мне еще больше укрепилось ощущение близости с бедняками.



*Тетя Эстер, с мужем и сыном Исааком (1927)*

В воскресенье утром, пока мама готовила обед, мы с папой выходили иногда погулять. Путь наш лежал мимо дома, где жили работавшие в больнице сестры из общины святого Винсента де Поля. На здании было написано по-латыни: "Res Sacra Miser"; я спросила папу, что это значит, и он перевел: "Бедные – это святое". Как глубоко ощутила я тогда всю справедливость этих слов!

Мама с нами обычно не ходила, особенно, если мы отправлялись далеко в лес, рассматривать старые пни, холмы, птиц... Уже тогда я бессознательно искала в этой красоте веру в Нечто, не вмещающееся в

рациональные рамки. Тогда я еще не знала о первородном грехе и сочиняла свою собственную этику.



*Мой двоюродный брат Исаак и его сестра Фелиция (1932)*

В школе я доставляла всем немало хлопот, так как никак не могла усидеть на одном месте, энергия была через край. Швейцар прозвал меня блохой - тоненькая, черненькая и все время скачет.

Когда мне исполнилось 8 лет, мы переехали на другую квартиру на Довборчиковой улице, что рядом с электростанцией, и меня перевели в частную школу пани Соболевской; большинство учеников здесь были из семей среднего класса. Однажды я наклеила марки обратной стороной, и один из мальчиков шепнул соседу: "У них, у евреев, все наоборот".

Я тогда еще понятия не имела, что евреи пишут справа налево, да и ничего такого еврейского в себе не ощущала. Кроме меня, в классе были всего лишь три еврейские девочки. В конце концов, я все же спросила маму, кто мы такие, и в ответ услышала, что мы евреи. Замечания, которые я по этому поводу слышала со всех сторон, мне надоели, и я запросилась вернуться обратно в старую школу.

Вернувшись в школу Элизы Ожешковой, я начала, вместе с другими еврейскими детьми, ходить на уроки Закона Божьего, и то, что я там слышала, звучало для меня как сказки братьев Гримм. Хорошо хоть, что на этих уроках никого не заставляли ничего учить, и всем ставили хорошие отметки. Единственным впечатлением, вынесенным мною из всех этих занятий, было то, что Бог очень-очень большой. Может быть оттого, что ОН вездесущий? Когда учительница сказала нам об этом, я спросила ее: "Как же так, вездесущий? Значит Он – везде? И даже в этой чернильнице?" Учительница приняла это за насмешку и меня отругала. Я смолчала, но пришла к заключению, что она и сама, наверное, в этом Боге не очень-то разбирается.



Позже, уже в следующем году, наша учительница, пани Калузевская, сказала нам, что каждому человеку нужно во что-то верить – хоть в камень, хоть в Небо... С этим я была согласна, но все же интереснее всяких высоких идей были живые люди, и, будучи сама бедной, я ощущала симпатию к беднякам. Когда однажды пани Калузевская рассказала нам о ребенке из бедной губернии, который ел весь облепленный мухами хлеб, я тут же решила, что когда вырасту – стану агрономом, осушу в этой губернии все болота и научу всех выращивать столько хлеба, чтобы хватало вдоволь себе и детям. Уже тогда я понимала, что обеспечивать свое будущее мне придется самой.

В годовщину смерти бабушки мы всегда ходили на кладбище. Я чувствовала, как папа любил ее, хотя он никогда не молился на ее могиле. Так только, постоит, помолчит несколько минут, смахнет набежавшую слезу...

Помню, с каким волнением расставался он с фотографией бабушки, которая переходила из дома в дом: каждый из ее детей несколько месяцев держал фотографию у себя, а затем передавал следующему брату или сестре.

В нашем доме она висела в столовой, напротив отцовского места. На фотографии бабушке было лет пятьдесят, она была в черном платье с белым кружевным воротничком. Гармоничные черты лица, прямой нос, красиво очерченные губы, светящиеся добротой и умом большие черные глаза. В ней ощущалась своеобразная духовность, лицо было экзотичным, как египетская фреска.

У входа на кладбище отец однажды показал мне место, где обмывали усопших: "Здесь уж, по крайней мере, все равны", - сказал он. Он так жаждал всеобщего равенства и справедливости. А мне было этого мало, мне хотелось еще и любви.

В 1934 году дядя и тетя отца приехали из Палестины, чтобы уговорить нас туда переселиться, пока "Белая Книга" давала возможность иммиграции. Тетя Эстер, папина сестра, решила воспользоваться этой возможностью, и, прежде всего, отправила своих детей в Еврейский Колледж в Иерусалиме. Но моего отца больше привлекал Биробиджан – Еврейская автономная область СССР.

На Довборчиковой улице был у нас сосед, Эдуард Брандвей, единственную дочь которого звали Стефой. Во время Первой Мировой он воевал в легионе Пилсудского, а позднее стал директором еврейской школы. Был у него друг поляк, все уговаривал его креститься, чтобы сделать карьеру, но тот отказывался, хотя в Бога не верил и считал себя, прежде всего, польским гражданином, а верность иудаизму хранил скорее в память о покойных родителях. Он был одним из многих, чьи имена были упомянуты в книге "Евреи за свободу Польши" и кого большинство поляков, тем не менее, не считало полноправными согражданами, особенно если они отказывались переходить в христианство.

Однажды Стефа сказала мне: "Даже если бы я знала способ избавить нас от клейма еврейства, я бы никогда перед отцом и заикнуться бы об этом не посмела". Я сказала, что если бы я могла сделать так, чтобы никто из нас никогда больше не услышал: "Грязный жид!", - то не стала бы, в таком случае, оглядываться даже на отца. Самой-то мне не страшно было, потому что я точно знала, что никакая я не грязная, а, наоборот, очень даже чистая и аккуратная; только вот других - жалко.

Среди тех, кто почитал за благо креститься, чтобы избавиться от этого клейма, был мой дядя Бернارد. Он принадлежал к немногочисленной группе евреев, которые верили, что Иисус – Мессия, и пытались убедить в этом и других. Да разве только в этом было дело... В те времена даже неверующие рассматривали крещение как предательство. Позже дядя

Бернард со всей семьей погиб в Трелинке, как и вся остальная родня моего отца.

В школе Ожешковой преподавали вместе католики, протестанты, евреи. В тот день, когда в Варшавском университете евреям предписали сидеть на лекциях отдельно от остальных, на задних скамейках, наша школа устроила акцию протеста. Самым маленьким ребятишкам было, конечно, не понять, с чего вдруг надо молча проводить стоя пять часов подряд. И я еще не понимала, что значит антисемитизм, но видела, как плакала мама, читая в газетах про Франко. "Вот так и с нами будет", - говорила она в 1938 году.

Не понимала я тогда и того, зачем люди молятся. К примеру – о дожде. В школе нам объясняли, как образуются в атмосфере дождь и снег. Я думала, что, наверное, только люди, не понимающие причин явлений природы, говорят, что все от Бога, и когда наука окончательно все им разъяснит, то ни в каком Боге просто не будет надобности.

В то же время, в школе каждый день начинался с пения молитвы. Еврейские учителя говорили нам, что ни в коем случае нельзя совершать поступки, противоречащие голосу совести, так что я, будучи неверующей, решила не петь. Трудно было стоять, не раскрывая рта, когда все вокруг поют, но я не сдавалась. Это заметили, маму вызвали в школу...

В конце концов, пришлось мне снова петь вместе со всеми, и это стало первой настоящей трагедией в моей жизни, - те же учителя, которых я боготворила, принуждали меня лгать и притворяться. Я рыдала, кипела от возмущения, и мама была на моей стороне. После этого случая я уже не могла любить Родину так же горячо и без оглядки, как прежде. Неправедные законы, коррупция, эксплуатация, ложь, ненависть и притворство – все это открылось мне, но я все еще верила, что общими усилиями можно добиться правды, можно улучшить этот мир.

Волна антисемитизма подтолкнула меня к вере в социализм. Я начала каждый день читать социалистические газеты, которые не в лучшем свете



выставляли католицизм. Я уверилась, что статуя Девы Марии скрывает под своим плащом лишь корыстолюбие и лицемерие, а ксёндзы только и знают, что одурачивать народ.

А тем временем отец, ничего мне не сказав, уже подал заявление на получение гражданства в Биробиджане.

В шестом классе мы прочли книгу Стефана Жеромского “Бездомный народ”, главный герой которой мне очень понравился. В последней главе доктор Юдум, талантливый врач родом из бедной рабочей семьи, постоянно это подчеркивающий, гуляет со своей подругой, восторженной молодой учительницей. Она говорит, что хотела бы жить трудами рук своих, в простом доме, со скромной мебелью. Но он не соглашается, он отвечает, что стремление к богатству у него в крови.

Я долгое время ходила под впечатлением от этой книги, спорила с Толой и с другими подружками, можно ли нормальную семейную жизнь сочетать с борьбой за “общее дело”. Они считали, что идеал социализма вполне совместим с замужеством, но я не соглашалась. Толье, впрочем, до “общего дела” вообще дела не было, она стремилась к счастью для самой себя, я же верила, что найду дорогу к нему для всех людей.

В 1939 году я перешла в другой класс. В то время я много читала о трансформации первозданного хаоса в упорядоченный космос. Тола старалась помочь мне поверить в существование Бога, но мое время еще не пришло. Как раз тогда я стала брать дополнительные уроки французского языка. Потом бросила. Папа спросил меня – почему. Я ответила, что просто так – трудно заниматься. Он сказал спокойно: “Не хочешь – не надо. В портнихи тебя и так возьмут”. Он хорошо знал свою дочь и понимал, что портниха для нее – отнюдь не идеал будущего.

А дополнительные занятия французским мне и вправду были нужны. Но учительница, бедная старая пани Соломонович, натерпелась со мной немало. Родители мне доверяли, ни о чем не допытывались, а я, если мне

вдруг были нужны для чего-нибудь 50 грошей, сэкономила на уроках. Но после этого разговора с папой я взялась за язык всерьез.

Меня любили крепкой и мудрой любовью. Но мне не доставало ощущения собственной важности, необходимости; я мечтала пожертвовать жизнью ради какого-нибудь идеала. Подружка Дануся говорила мне, что я просто обязана любить родителей так же сильно, как они меня, но я в таком "обмене" удовлетворения не находила.

С завистью смотрела я на соседских детишек, сестер и братьев, игравших вместе, и все просила маму родить мне братика или сестренку, обещала, что буду сама ухаживать за малышом. Папа серьезно объяснял мне, что мама больна и больше не может иметь детей. Ни уход за комнатными цветами, ни возможность время от времени понынчить соседских малышей не давали мне того, к чему я стремилась: я хотела любить кого-то, кто будет моим навсегда.

И, в конце концов, я влюбилась в свою учительницу истории. Мама даже ревновала немножко, слушая мои восторженные рассказы о замечательной Ванде. Я привязалась к ней всем существом, только рядом с Вандой моя жизнь обретала какой-то смысл. Она преподавала нам историю древнего мира с таким энтузиазмом, что я, поверив в богов Олимпа, чуть было не забыла собственные идеи о необходимости борьбы с религиозными предрассудками и о природе, как единственном источнике жизненной силы.

Но в середине учебного года разразилась катастрофа: Ванда вышла замуж и перестала у нас работать. Три дня я проплакала, никому ничего не объясняя, а потом возненавидела ее мужа. Понимала, что это звучит глупо, но он отнял у меня все. Я жила уже как бы по инерции и, мечтая о будущих встречах с Вандой, писала работу о религии древних греков.

Это была первая религия в моей жизни, которую я пыталась понять. Тогда я не задумывалась еще над тем, что язычество не могло дать мне

ответа на самые главные мои вопросы, т.к. оно не интересуется любовью к людям, особенно к бедным и несчастным.

В школе нам задали написать сочинение про одного из героев книги Сенкевича "Камо грядеши?". Толя выбрала Петрония, а меня больше привлекал Хилон. Я считала, что слабости и дурные поступки нельзя ставить людям в вину. Вслед за Стефаном Жеромским я утверждала, что безнравственность – это следствие несовершенства общественных условий.

Но моим идеалам недоставало конкретного воплощения в действие, а виноваты во всем были, по моим представлениям, те, кто ничего не делал для бедных, тем самым обрекая их на потерю нравственности.

С одной стороны, я не искала другой веры, кроме разума и науки; с другой – моя Ванда, хоть и вышла замуж за социалиста, была католичкой из верующей семьи. По сведениям социалистической газеты "Подзямин", откуда я, главным образом, черпала свою информацию, католики были, в основном, узколобыми фанатиками, страдающими к тому же избытком смирения. Но Ванда-то была совсем другой, и, потеряв ее, я никак не могла успокоиться.

Однажды я два часа пыталась объяснить одной подруге, у которой хватило терпения меня выслушивать, что со мной происходит, но понять меня она так и не смогла. И никто не мог. Жизнь моя стала пустой, бессмысленной; я не находила радости даже в спорте.

Меня начала преследовать мысль о самоубийстве. Толя пыталась отогнать ее, но безуспешно. Однажды я, по дороге домой, размышляла о том, как лучше свести счеты с жизнью, и, глубоко задумавшись, чуть было не попала под машину, но в последний момент успела отскочить в сторону.

Позже я спрашивала себя: зачем, ведь все равно решилась умереть. Видимо, вмешалась какая-то иная сила, действовавшая помимо моей воли. Может быть, жизнь моя была спасена потому, что у меня какое-то особое



предназначение? Эта мысль вернула мне надежду. Теперь, оглядываясь на прошлое, я могу сказать, что так именно и сложилась моя жизнь: несколько раз я была на краю пропасти, и всякий раз, в последнюю минуту Бог приходил мне на помощь.

Учительницу рисования я не любила. Однажды она поймала меня на том, что я ее передразниваю, и поставила мне в тетрадь плохую отметку, а я этот лист вырвала. Дома папа заметил, что в тетради недостает страницы, и спросил меня, в чем дело. Он обещал, что ничего не скажет маме, чтобы ее не волновать. Его доброта и заботливость так тронули меня, что я расплакалась и с облегчением рассказала всю правду. Добротой и уступчивостью от меня всегда можно было добиться большего, чем угрозами.

Весной Ванда приехала в гости к нашим соседям, она ждала ребенка. Я прибежала к ней, послушала, как она рассказывает о своем муже, и спросила, верит ли она в Бога. Если на тот вопрос, в то время очень меня беспокоивший, она ответила бы положительно – у меня бы уже не осталось сомнений. Но она уклонилась, перешла на другую тему, не захотев, видимо, ни в чем меня убеждать. Хотя муж ее и был атеистом, она в душе оставалась верующей – в Бога, а не в церковный обряд. Мне она только сказала: "Многие ученые верят в Бога". С такой постановкой вопроса я не согласилась. Она не давала мне ответа на главный из них: если ученые верят, и Ванда тоже – может быть, верить должна и я?

В ожидании наших встреч с Вандой, мы с Данусей, Евой и Толой создали кружок самообразования на тему: "Решает ли социализм социальные, политические и экономические проблемы?"

Каждая из нас взялась написать работу по одному из аспектов этой темы. В левацкой Бороховской библиотеке удивлялись, зачем это тринадцатилетним девочкам понадобились такие книги. Начитавшись их, мы пришли к убеждению, что социализм справедлив, человечен и прав во всех отношениях. Встречи с Вандой дали нам понять, сколь поверхностны были наши знания. Мы сомневались в возможности войны в социалистической стране, и она спросила насчет этого мнение своего мужа, она считала его "экспертом". Он ответил, что если бы социализм был установлен во всем мире, то не было бы нужды в войнах. Мир казался нам столь прекрасным и замечательным. Увы, продолжалось это недолго.

Все началось с прихода Гитлера к власти. Перед лицом нарастающего антисемитизма мой отец вступил в левого толка организацию "Еврейский Союз". Он ввязался в долгую судебную тяжбу с еврейской общиной Лодзи, потому что отказался платить требуемый ими ежегодный похоронный налог. Судья вынес решение, что он обязан платить, если хочет сохранить места на еврейском кладбище – "атеистических" кладбищ в Польше не существовало.

Меня послали сфотографироваться на паспорт: родители обратились за получением визы в СССР. Я расплакалась. "Что ты плачешь? – спросила мама, – Что у тебя тут? Родина? С кем тебе так жалко расставаться? С родственниками?"

"С Вандой", – ответила я, заливаясь еще больше слезами.

Мама сказала, что, если б только Ванда могла, она тотчас же уехала бы в Советскую Россию. Но я все равно наотрез отказывалась уезжать, и мама сдалась и перестала настаивать. Сказала, что без меня они с отцом никуда не поедут. А маме я верила, она никогда не нарушала своего слова и всегда желала мне только хорошего. Не повезет она меня насильно в этот Биробиджан, если увидит, что мне там будет плохо. Так что, фотографироваться, я все же пошла, но на всякий случай скорчила перед аппаратом такую рожу, чтобы русские не захотели меня впустить.

Отец верил, что в Биробиджане мы обречем справедливость, равенство и свободу. Он был очень гордым человеком, и нарастание антисемитизма его глубоко оскорбляло – он слишком хорошо понимал его истоки и будущие неизбежные последствия. Он говорил правду в глаза, – как полякам, так и евреям, а я гордилась им и с восхищением слушала его слова.

Лето 1939 года мы провели в деревне недалеко от Лодзи. Я целыми днями пропадала на речке, приходя домой только есть и спать, купалась, бродила по широким пшеничным полям, молилась солнцу... (этот доморощенный культ я оставила лишь через несколько лет, когда открыла для себя Бога).

Мама была человеком скромным и очень деликатным. Она замечала, что набожные соседи воспринимали без особого восторга мою привычку разгуливать целый день в купальнике. "Чего это они так на меня смотрят?" – спрашивала я. Мама не отвечала и не убеждала меня выбрать наряд поскромнее, тем более, что я не видела в своем поведении ничего неприличного.

К нам в гости на три дня приехала моя школьная подруга Дануся, и как раз в это время случилось так, что я утопила в пруду свои часы. Услышав об этом, папа очень рассердился и ударил меня. Ударил при всех, прямо за обеденным столом, и я не выдержала. В конце концов, мне уже 13 лет, и у



меня тоже есть своя гордость! Я вскочила и, не говоря ни слова, выскочила из дома на шоссе.

Дануся бежала за мной, плакала, звала, но я заявила, что брошусь под машину, если она не отвяжется. Она знала, что в такие минуты я способна на все, и повернула обратно. Все очень беспокоились, а я просто шла, куда глаза глядят, не разбирая дороги, пока буря внутри меня не утихла. Когда эмоции немного улеглись, я почувствовала, что устала, и стала думать о том, что делать дальше.

Куда идти? К Ванде? Но просто так жить у нее нельзя... может, она возьмет меня в прислуги?

Домой я отважилась вернуться только тогда, когда уже стемнело. На полпути меня встретили мама, дядя и Дануся.

Три дня я и папа не разговаривали друг с другом, но я чувствовала, что мама на моей стороне. Потом мы помирились и подружились снова.

Однажды мама сказала, что она три ночи подряд видела один и тот же сон: мы живем в Лосице, у ее родни. Мы слушали и смеялись: что за чепуха! Мы – и вдруг в Лосице!

А полгода спустя сон тот сбывлся.

В то время мы, дети, представляли себе войну только по рассказам старших. Она нам даже нравилась – ведь на войне можно совершать героические подвиги и предаваться благородному самопожертвованию во славу любимой Отчизны!

Бояться нам было нечего: не зря же маршал Шмиглы-Рыдзь каждый день твердил, какие мы сильные, сплоченные, ко всему готовы! Он заявлял, что “Польша не уступит ни одной пуговицы с мундира своего солдата”.

Первого сентября 1939 года Гитлер захватил Поморже, второго и третьего Англия и Франция объявили войну Германии.

Была прекрасная осенняя пора с ее прозрачным воздухом и живописными красками природы. Целыми днями мы стояли в очередях за

солью и спичками, шили респираторы, чтобы иметь их вместо противогазов, а я для всех жарила картошку. Картошки мы запасли целых 50 кг и решили отсидеться в деревне до конца молниеносной войны, тщательно избегая употреблять в разговоре немецкие слова и выражения.

Объявили мобилизацию. Отец собрал вещи, поцеловал маму. Она плакала, а я только сказала: "Вернись героем". Вернулся он в тот же вечер, страшно растерянный, сказав, что никакой воинской части он на мобилизационном пункте не нашел и спросить было не у кого. Сплочными и подготовленными оказались одни лишь немцы.

В тот день занятия в школе, к великой радости ребятишек, так и не начались.

Неделю спустя мы взяли то, что могли унести с собой, и вернулись в Лодзь, причем мама не хотела возвращаться в город без шляпы, нам пришлось долго убеждать ее повязать платок.

Кроме того, мама считала, что электростанция рядом с нашим домом – весьма привлекательный объект для бомбежки. Поэтому мы решили, что сначала отправимся не домой, а к тете Хеле, где и устроились, – 14 человек, – на двух кроватях. Мы с папой дважды пробирались под обстрелом в нашу квартиру, чтобы забрать кое-какие пожитки. Папа не боялся, а я даже не осознавала, что пули могут убить. Для меня все это было просто новой интересной игрой.

Иногда, впрочем, все-таки приходилось спускаться в бомбоубежище. Однажды на крышу дома упал снаряд, но вреда не причинил.

... Три дня спустя после этого папа спустился к нам в бомбоубежище с перекошенным лицом: Томчак, епископ нашего города, сдался немцам. Они вошли в город и тут же начали наводить там свои порядки.

Из окна тети Хели было видно, как, молится, завернувшись в талес, сосед. Мы смотрели на него с благоговением, но никому и в голову не приходило последовать его примеру.

Мы вернулись к себе домой. Я снова начала ходить в школу, а папа – на работу. Во всех школах ввели обязательное изучение немецкого, и папа решил подготовить меня к нему с помощью напечатанного готическим шрифтом немецкого перевода “Анны Карениной”. Но я решительно отказывалась учить этот язык. Кончилось дело тем, что папа вырвал ручку у меня из рук и швырнул ее на пол. По правде сказать, я радовалась, что можно, наконец, бросить французский, но немцев я ненавидела, ненавидела их язык, запах их машин – вообще все, что хоть как-то было с ними связано.

Спать в нашей спальне становилось невозможно, потому что в соседнем доме разместились немецкая комендатура, и оттуда по ночам доносились крики истязуемых. Пришлось перенести постели в гостиную.

Мы с Толой собрались было пробраться на помощь защитникам Модлина, но 22 сентября и эта крепость, – последний очаг сопротивления, – пала, что нас глубоко опечалило. Вскоре в город вернулась моя любимая Ванда с маленькой дочуркой, которую она решила не крестить, но назвала, тем не менее, Кристиной. Малышка была здоровенькая, хотя и родилась в Варшаве под бомбежкой, в ужасных условиях. Иногда Ванда говорила о войне, но больше – о своей маме.

Тем временем, из Петракова вернулся наш сосед Эдуард Брандвейн, про которого ходили слухи, будто он заживо погребен под развалинами.

Пока не началась война, я ощущала себя, прежде всего, еврейкой. Но после нападения немцев я вдруг почувствовала свою принадлежность к польскому народу и вместе со всем народом ненавидела врагов. Зная, что на протяжении истории ничто так не сплачивало этот народ, как религия, я теперь охотно пела молитвы перед началом уроков. Со всеми вместе. Потому что хотела быть со всеми вместе. Это чувство в нашем классе разделяли все.



Стремление к самопожертвованию во имя Отчизны на время затмило во мне любовь к беднякам и даже несколько потеснило привязанность к Ванде. Впрочем, я рассчитывала доставить ей удовольствие, когда изготовила несколько резиновых печатей с патриотическими лозунгами вроде: "Да здравствует Польша!", "Создадим польскую армию во Франции" и т.п., и под прикрытием сторожившей на углу Толы украсила этими лозунгами приказы и распоряжения немецких властей, расклеенные по той улице, где обычно ходила Ванда.

Однажды эти печати обнаружил папа и спросил: "Это что, для личного пользования?" Я сказала, что да, и больше он уже ничего не расспрашивал, потому что понял, что меня все равно не удержат.

Теперь я думаю, что взрослый, разумный человек мог бы попытаться объяснить увлеченному подростку, что большого толка от занятий, подобных этому, не будет, но Ванда поощряла нас, и мы продолжали ставить печати на бумаги. Я все мечтала добраться до того немца, что плясал у низвергнутого памятника Костюшко, и бритвой перерезать ему артерию. Ходили слухи, что была в Варшаве женщина, которая их так и убивала. В наших с Толой разговорах во время совместных прогулок все больше места стала занимать еда. И почему же это, интересно, до войны нам и в голову не приходило столько говорить на эту тему? Также мы раздумывали, откуда берутся войны, но ответ на такой вопрос найти было еще труднее, чем еду.

Однажды вечером мы в очередной раз пошли расставлять печати. Тола караулила, а я трудилась во имя Родины и Ванды. Как вдруг Тола спросила: "А если тебя немцы будут пытать, ты про меня не проболтаешься?"

Может, она просто хотела меня подразнить, но я почувствовала себя глубоко оскорбленной: я тут жизнью рискую, а она только о себе и думает! "Не знаю", – ответила я, хотя в тот же день нашей дружбе пришел конец. Я очень тяжело переживала этот разрыв. Но, оправившись от потрясения,

поняла, что при всей моей постоянной потребности кого-нибудь любить (такова уж моя натура!) я не гожусь для тесных дружеских отношений.

Этот урок я запомнила на всю жизнь и ни от кого больше не ожидала взаимности. Поняв себя, я стала свободной и сильной, избавилась от страха и горечи – отныне никто не сможет отнять у меня радость любви и самоотречения.

Тола все поняла, хотя виду не подавала.

Однажды на улице немцы задержали моего отца и погнали его маскировать свое бомбоубежище. Вернулся он через два часа, рубаха его была мокрой от пота – скорее от унижения, чем от работы – и сказал: “Или я, или они”. А поскольку “они” никуда уходить не собирались, отец решил, что единственным выходом будет - бежать в Россию. 16 ноября 1939 года он поцеловал маму на прощанье, и я поняла, что означает выражение “единая плоть” – такой насильственной и неестественной была причина их расставания. Отец куда больше беспокоился о маме, чем обо мне; мне же он дал понять, что считает меня теперь главой семьи, опорой и защитой мамы.

Почтовое ведомство тогда в Польше не работало, письма доставляли специальные посыльные, и доходили они плохо. Договорились, что мы, как только сможем, приедем к нему в захваченный русскими Львов.

Но все оказалось не так просто. Русские заявили, что советское гражданство можно получить только после трех месяцев тяжелых работ, а кто не согласен – может возвращаться в оккупированную Польшу. Так что, отец три месяца проработал на лесоповале где-то под Москвой, а потом его перевели в Дивидово, под Горький, учителем немецкого языка.

Я вновь со слезами на глазах разговаривала с Вандой о предстоящем отъезде. Ванда пыталась меня утешить, говорила с грустью, что Польша никогда не была евреям настоящей родиной, обещала прислать мне в Одессу свою дочурку понячить ее там – это, мол, самое разумное, что она может сделать для своего ребенка. Она записала мне в дневник фразу, прочитанную у Словацкого: “Когда лес горит, не время плакать о розах”. Я



думаю, она имела тогда в виду то, что происходило не только в Польше, но и во всей Европе.

В это время начались аресты польской интеллигенции. Так что Ванде с ребенком пришлось покинуть дом и ехать в Варшаву. Ее отец – врач, офицер, общественный деятель и друг евреев – пытался скрыться, уехал в деревню, где под чужим именем устроился учителем, но все равно был арестован и погиб в Освенциме.

В ноябре в Лодзи появились первые беженцы из Калуша и Бляшек. Я была в восторге от мамы, которая раздала им все свои теплые вещи. Ей трудно было расстаться с домом, оставить на попечение экономки свои любимые цветы. Книжки свои я раздала друзьям, а отцовские энциклопедии и словари отдала на хранение тете Хеле. Мама верила, что мы когда-нибудь вернемся в нашу уютную квартирку. Три дня мы прождали на железнодорожной станции, пока, наконец, 16 декабря 1939 года нам с мамой и дядей Бернардом удалось сесть в поезд на Варшаву. Там прямо с вокзала мы на конной повозке поехали в гостиницу с окнами, напоминающими глазницы черепа. Красавица-Варшава лежала в развалинах. Я бродила по улицам, высматривая шубку Ванды, пускалась вдогонку за всеми женщинами, издали похожими на нее, но всякий раз, догнав, убеждалась: нет, не она. А расспрашивать о ней было нельзя: я знала, что она скрывается.

Несколько дней мы прожили у маминых родственников, и, наконец, сняли большую комнату на Золотой улице, где к нам вскоре присоединились еще две мои тети с детьми, поэтому стало немного тесновато. Мы с мамой спали на письменном столе. Очень трудно было добывать еду и уголь. Но если кто-нибудь начинал жаловаться, тетя Эстер говорила: «Молитесь до лучших времен, чтобы не вспоминать об этом». Так все вместе мы и жили с нашей общей бедой, а взаимная любовь нас поддерживала.

В январе мы с мамой уехали в Подлесье к дяде Альберту Бекерману. Он нас любил и делал вид, будто не замечает, что мы на каждом шагу нарушаем религиозные предписания. Дядя послал нас к своему брату в Сарнаки, местечко в 6 км от Буга. Там мы нашли профессионального контрабандиста, который пообещал переправить нас через реку по льду. Но за три недели, пока мы ждали, что замерзнет река, я, всегда такая здоровая, заболела сильной лихорадкой, и планы о переходе пришлось отложить на целую неделю. Так и застряли мы в Сарнаках, в доме дядино брата – в том самом доме, где когда-то родилась моя мама. Теперь, половину его занимали беженцы из Бляшек, что под Калушем. До войны в Сарнаках имелась примерно тысяча жителей. Мама вспоминала, как она, еще девчонкой, смастерила красный воротничок и сапожки, обрядила в них белого кота и пустила его бегать по белому снегу, а за ним, конечно же, побежали ребятишки со всего местечка.

Несмотря на хороший прием, оказанный нам родственниками, это был, наверное, самый скучный период в моей жизни. Я ни слова не понимала на идиш, на котором говорили все вокруг. Нас заметало снегом, окна замерзали, и приходилось долго их оттаивать, чтобы увидеть хоть что-нибудь снаружи. Утром надо было приложить немало трудов, чтобы открыть занесенную метровым сугробом дверь и протоптать дорожку к колодцу. Я коротала время за чтением "Иудейской войны" Иосифа Флавия. Время от времени мы ездили в город, в гости к пани Шумеровой и ее племяннику. Там, за обедом, читали "Пророчество Вернигоры", говорили по-польски, и я вновь стала ощущать себя полькой. Пару раз мы бывали в гостях у мельника, он тоже доводился маме родней. Зная, что на идиш я не говорю, они по-польски ругали поляков за антисемитизм. Мама объясняла, что у меня есть друзья-поляки из "самого лучшего общества", но это их не убеждало. Тем временем, лед на реке опять растаял, и нам с мамой пришлось снова возвращаться в Лосице, к дяде Бекерману. Я была

счастлива, а мама довольна, что можно не переселяться в Россию, где нас, конечно же, будут презирать.

Зима 1940 года выдалась очень холодной.

Евреи, что уехали в Россию коммунистами, возвращались оттуда больными, после лагерей. Они рассказывали, что достаточно было всего полгода прожить в России, чтобы излечиться там от всякого коммунизма – надежно, и на всю оставшуюся жизнь.

Я выучилась вязать, и так мы стали с мамой зарабатывать себе не только на жизнь, но еще и на продуктовые посылки теткам, в Варшаву. Не зря мы привезли с собой запас шерсти. А поскольку я вязала “вслепую”, я могла одновременно глотать и польские книги, в то время как почти все вокруг говорили на идиш. Первые месяцы я почти не понимала идиш, тосковала по польскому окружению, рвалась сделать что-то для своей Родины, но что могла я сделать одна, без друзей, в еврейском местечке?

Однажды мы с мамой сидели перед домом, вязали и вспоминали прежнюю нашу квартирную хозяйку, пани Збуцкую, и ее зятя. Вдруг перед нами собственной персоной вырос тот самый зять и начал говорить ужасные вещи про евреев. Тем же вечером мы обнаружили его слова в единственной доступной в тех краях газете. И все же, такие заявления со стороны зятя пани Збуцкой были для нас полной неожиданностью: они оба всегда были такими милыми, приветливыми...

Среди прочитанных мною книг была одна, под названием “Родина хлеба и Родина мечты”. По моим представлениям, Россия должна была стать для нас Родиной хлеба, но Родиной мечты могла быть только Польша. Отец все еще пытался всякими легальными способами заполучить нас в хлебной стране: обмен между Германией и Россией продолжался до самого начала войны. Отец так и жил в Дивидове, а для нас продолжали тянуться дни ожидания. В то время я открыла для себя справедливость слов Экклезиаста: “Суета сует, все суета”.



Альтруизм, социализм, коммунизм, патриотизм - за все по очереди из этих идей я стремилась отдать свою жизнь, пока не обнаруживала в каждой из них какие-то недостатки и несовершенства. А жизнь у человека всего одна, и как же хотелось, чтобы она была счастливой! Я искала себе идеалы даже в прошлом, среди "филоматов и филаретов", т.е. "друзей премудрости и науки", - организации, возникшей в Вильно после Венского Конгресса на волне протеста против российского деспотизма. Это были величайшие идеалисты, каких только можно было себе представить; своей целью они ставили духовное самосовершенствование и распространение научных знаний. К этому движению принадлежал, в частности, Адам Мицкевич. Но в 1823 году организация эта была запрещена, члены ее арестованы и сосланы во внутренние губернии России.

В те времена существовала также подпольная молодежная организация в университете Вильно, основал ее в 1819 году Томас Зан. Но слишком уж высоки для меня были ее идеалы. Вслепую, но с открытым сердцем я упрямо искала цель в своей жизни.

Так мы и жили в Лосице, где были похоронены моя бабушка и тетя Ривка - в 36 км от Буга, по которому в то время проходила граница между Германией и Россией. И хотя евреям запрещалось передвигаться по стране, время от времени я навещала своих родственников в варшавском гетто. Ездил я туда с удостоверением нашей соседки, пани Петровской, хотя она была вдвое старше меня. А однажды решила поехать и вовсе без документов, переодевшись деревенской девушкой. Тут я и попалась. Уже на перроне я заметила, что какой-то незнакомец смотрит на меня в упор. А когда стала подниматься по лестнице, ко мне подошел гестаповец и по-немецки потребовал предъявить документы.

Я по-польски ответила: "Не понимаю". Тогда он повел меня в участок, где другой эсесовец попытался открыть мою сумку. Я не выдержала и закричала по-польски: "Что вам от меня надо?" Меня отпустили. Выходя с

вокзала, я заметила на улице того самого незнакомца с перрона, который, наверное, и указал на меня немцам. Увидев меня, он тут же прыгнул в подошедший трамвай. Я чуть было не накричала на него, что, в общем, могло кончиться очень плохо.

Родственники мои оказались в карантине, всю ночь я пробыла одна в их пустой квартире и не могла сомкнуть глаз. С тех пор я уже не ездила больше без документа, принадлежащего соседке, а маме о случившемся рассказала лишь некоторое время спустя. Хотя она и сама сразу догадалась, что что-то неладно.

10 июня 1941 года пришла из России посылка от отца: 10кг продуктов - свечей, мыла и сухой копченой колбасы.

Я как раз изучала историю наполеоновских войн, когда немецкие танковые колонны двинулись на восток. Солдаты говорили с мамой, показывали ей по карте, что до Москвы осталось не более 150 км. Уже летом у нас конфисковали шубы - для защиты от будущих зимних российских морозов.

То, что война между Германией и Россией началась именно 22 июня, а не в какой-то другой день, показалось мне добрым предзнаменованием: в этот же день, много лет назад, двинулась на Москву наполеоновская армия – себе на погибель.

Ходил среди нас тогда анекдот: любой немец не сомневается, что управится с десятком русских, но вот что он станет делать, если русских вдруг окажется одиннадцать?

Через два месяца в Лосице было устроено гетто, что благоприятно сказалось на наших жилищных условиях. На базарной площади выстроили два ряда новых домов, и благодаря дяде Альберту Бекману, отцу моего двоюродного брата Нехемии, мы получили в одном из них угловую комнату в шесть квадратных метров. Пани Збуцкая пришла помочь мне клеить обои, я уговорила маму повесить занавески – у нас было два окна и дверь на

балкон. Спать, правда, пришлось на одной кровати – для второй места не было. Не было и туалета, так что все кидали в печку. Польские друзья могли свободно проходить к нам и делать заказы на работу – гетто не охранялось, так как большинство населения Лосице все равно составляли евреи.



С мамой дружила Хелена Грушка-Каймерчак, работница лодзинского кооператива. Она часто к нам приходила, приносила много меда и немного заказов. Даже работавшие с нами девочки говорили, что пани Хелена – женщина добрая, “а войла гоя”.

Сестры другой нашей приятельницы, пани Романюковой, часто приезжали к нам из Варшавы за продуктами, а на обратном пути брали меня с собой, хотя и знали, что евреям запрещено покидать место жительства. Одна из таких поездок пришлось на последние дни ноября 1941 года. Заночевала я у моих спутниц, а наутро на пороге их дома появилась очень худая, лет пятнадцати, девчонка, которая вызвалась провести меня в гетто. Я дала ей яблоко. “От еды никогда не откажусь”, – сказала она.

Гетто было обнесено стеной, но в углу обнаружилась дыра. Я дала 20 злотых польскому полицейскому с “арийской” стороны, и он “не заметил”, как я в нее пролезла. По другую сторону стены меня уже поджидал еврейский полицейский, который также получил свои 20 злотых и пропустил меня в гетто. Я пошла к тете Эстер. Кроме нее, в квартире жило еще шесть человек, в том числе тетя Хеля и ее сын Изя. Ее муж Арнольд и брат Вильгельм погибли в лодзинском гетто. В Варшаве с ними жил дядя Бернард. Он был болен туберкулезом, нуждался в усиленном питании. По специальному разрешению он продолжал работать бухгалтером на фабрике резиновых изделий. Большинство женщин в гетто выглядели ужасно: огромные глаза и головы, казавшиеся непомерно большими для исхудалого тела. Тетя до войны была полной, а теперь стала тонкой, как тростинка, хотя ей приходилось еще не так трудно, как другим: осталось еще кое-что продать, да и я ей привозила еду, сколько могла. В квартире

было четверо детей: двухлетняя девочка по имени Юдит, светловолосая и голубоглазая, двенадцатилетняя Фелюся, ее старший брат Изя, и еще двенадцатилетний Изя-младший. Когда дядю Бернарда уволили с работы, четырнадцатилетний Изя-старший остался в семье единственным добытчиком. Прежде, тетя берегла каждую копейку для детей, но теперь она не могла не дать хоть что-нибудь людям, умиравшим на улице от голода и лежавшим почти у каждой подворотни, на морозе, - трясущимся от лихорадки, опухшим, с багово-фиолетовой кожей. Они уже ничего не хотели, только поскорей умереть.

Единственным транспортом в гетто были безлошадные извозчики, вроде рикшей. Наняли и мы такого "рикшу" и поехали с тетей в кафе пани Зайд. Расплачиваясь, я вдруг заметила на ступеньках кафе человека – опухшего, обмороженного, его глаза были полны слез и сверкали лихорадочным блеском. Дверь кафе то и дело открывалась, люди сбегали по ступенькам, стараясь не смотреть в его сторону. А в кафе горели свечи, играла романтическая фортепьянная музыка. Официантка в накрахмаленном белом передничке принесла нам кофе с печеньем. Пани Зайд, владелица кафе, расспрашивала меня о своей семье, жившей в нашем лосицком гетто: о дочке Дзюне, о ее женихе Лайзеке, о своем муже докторе Зайде, отце Дзюни. Много времени мне пришлось рассказывать об их проблемах, и как-то язык не поворачивался попросить пани Зайд впустить умирающего в кафе, чтобы дать ему спокойно умереть, а прочим – заметить, наконец, что происходит вокруг них.

На следующий день пани Зайд пригласила меня в ресторан. Там, правда, еды было немного, но все - очень вкусно.

Вернувшись в Лосице, я никому не стала рассказывать, что происходит в Варшаве: не хотелось пугать людей. Но во сне я снова и снова слышала стоны человека, умиравшего на ступеньках кафе под звуки танго. Несколько дней я не могла прийти в себя. Всё пыталась убедить себя, что эти люди не

могли поступить иначе, что для них это кафе было единственной иллюзией нормальной жизни. Но для меня оно осталось кошмаром, который я не в силах забыть даже сейчас, спустя 50 лет, и не забуду до своего смертного часа.

Я была уверена, что христиане на такое не способны, и только евреям свойственно подобное равнодушие к страданиям ближнего. Как я сердилась на них за это! Чувство моё ещё усилилось после того, что произошло в Лосице. Случалось иногда, что у нас появлялись беглецы из варшавского гетто. Здесь у них был шанс выжить: наше гетто не охранялось, окрестные крестьяне заказывали и покупали у нас, все, что им было нужно и расплачивались продуктами. Поэтому наш юденрат (орган самоуправления гетто – прим. перевод.) мог бы им помочь, но вместо этого он всеми силами старался избавиться от этих несчастных, и даже обратился к немецким властям с просьбой отправить “нищих” обратно в Варшаву. И это тогда, когда многие из них едва держались на ногах от истощения. Одним из таких людей был и наш водонос. Уважение к нему мы почувствовали с первой же минуты, как только он постучал в нашу дверь. Худой и оборванный, он совершенно не походил на нищего, в нем виднелось какое-то благородство. Мама хотела дать ему золотый, но он не взял, сказав, что это слишком много. Мама настаивала. Тогда он предложил приносить нам воду за эти деньги. Три недели приносил, мы ему платили... и вот теперь, его вместе с другими такими же несчастными высылали назад в Варшаву. Без хлеба и без копейки денег.

У нас в доме был хлеб и жареный бекон, и я сделала ему бутерброды на дорогу. Принимая их, он шепотом дал мне адреса родственников, у которых пристроил своих детей. Тут я заметила на другой стороне улицы пана Аша, он тоже был из Лодзи. Его жена была учительницей в нашей школе, а сам он – членом юденрата, где неплохо платили. Я попросила его одолжить мне

пять золотых и у него на глазах отдала эти деньги водоносу. Он видел все, однако ни слова не сказал мне, когда я пришла возвратить долг.

Евреи высылают евреев под конвоем в голодную Варшаву! Я просто кипела от ярости. Мама разыскала детей нашего водоноса – дочку и двух маленьких сынишек. Несколько дней мы носили им еду, но осторожно – боялись немцев и юденрата. В конце концов, нам удалось прописать их в Лосице.

Девочка, звали ее Роза, начала работать с нами, ела у нас и, постепенно, становилась здоровой и красивой – мы на нее нарадоваться не могли. Мама, не спрашивая моего разрешения, отдала ей мою юбку. Впрочем, я тоже много чего раздавала без разрешения мамы – тут мы хорошо понимали друг друга. Один только раз на моей памяти я получила за это пощечину.

Весной нам написали из Варшавы, что тетя Эстер заболела тифом. Это было три месяца спустя после того, как я видела ее - исхудавшую, как скелет. И, чтобы спасти ее, я решила продать свой новый костюм. Мама не соглашалась, она не понимала, что творится в Варшаве, и не считала нужным жертвовать моим лучшим костюмом. Так случилась между нами ссора, после которой мы лежали в одной постели и не могли заснуть. Мы обе чувствовали себя виноватыми, и мама уже делала первые шаги к примирению, но я смогла попросить у нее прощения лишь в день, когда мне исполнилось шестнадцать лет, - ценой поистине героических усилий, – она ведь ударила меня! Несмотря ни на что, я очень любила маму. Я ведь была у нее одна, ради меня она осталась в Польше, и вот теперь мы вдвоем оказались в этом чуждом, враждебном окружении, не разделявшем нашего образа мыслей.

Через 10 дней пришло письмо из Варшавы: отец Розы выдержал долгий обратный путь, но вскоре по прибытии умер. При этом известии любви к евреям у меня не прибавилось.



Я чувствовала себя как в заключении, мечтала вырваться на свободу, хотя мне все же было легче, чем многим. Я подрабатывала в саду пана Збуцкого, и он выправил мне свидетельство о трудоустройстве.

А я тайне влюбилась в него. Он был женат, имел ребенка, но однажды, когда мы были в поле одни, он попытался меня поцеловать. И хоть я и считала его идеалом мужчины и видела по ночам во сне, но тут отпустила ему пощечину. До сих пор не могу забыть этот случай!

Каждый вечер, глядя в окно, я пела песню: "Ночь темна и глубока. / Колокол на башне полночь бьет. / Узники заснули". Понимала ли я тогда, к какой свободе стремилась? Вероятно, еще не понимала. И, тем не менее, стремилась всем сердцем.

Мы с мамой по-прежнему вязали на заказ. Связали однажды платье для местной проститутки, а той показалась слишком высокой назначенная цена. Она пожаловалась своему дружку, немцу-жандарму, и вместе они появились у нас. Мама свободно говорила по-немецки. Она начала убеждать жандарма, что приехала из Германии, что она, в некотором роде, даже гражданка Третьего Рейха (Лодзь в те времена и в самом деле был объявлен частью Германии и переименован в Лицманштадт), но ничего не помогло, он еще больше обозлился. Вместе со своей дамой легкого поведения обшарил всю комнату, забрал нашу пряжу, да еще ударил маму по голове. Я закричала на всю улицу. Хотела, чтобы сбежалась толпа. За это и мне досталось. После такого унижения я две недели не решалась выйти на улицу. У мамы несколько недель болела голова, не проходили синяки на лице.

Материального ущерба мы, правда, не понесли – помогли соседи-поляки, и местные, из Лосице, и беженцы из Помороже. Они пошли к немцам, заявили, что пряжа принадлежит им, и потребовали назад свое имущество. В конце концов, немцы даже признали, что наша с мамой

работа – разновидность искусства, и, стало быть, цена была вполне умеренной. Мы, и вправду, работали аккуратно и красиво.

Так вот и выходило, что все – и немцы, и евреи – спокойно делали свои делишки. Моя жажда мести находила выход только в мечтах. Вот, если бы, к примеру, кто-нибудь из нацистов скрывался от преследования, то я бы... я бы непременно выдала его. Или, нет, еще хуже: я расскажу когда-нибудь их детям обо всем, что они у нас тут творили!!!

Люди в гетто жили по-разному. По соседству с нами жила одна миллионерша, у нее было две дочери. Одну из них она любила и ни в чем ей не отказывала. Вторая же была вечно голодной, муж ее был весь покрыт вшами, а дочка – внучка миллионерши – болела тифом. Мама с подругой по всему гетто собирали деньги на помощь этой семье. Причем все они, включая мамашу-миллионершу, были очень религиозными людьми.

Что могла я испытывать к этим людям, кроме презрения? Никогда я не понимала и не принимала веры без любви.

Как-то, субботним утром, я вышла из дому с ведром помоев, как вдруг, откуда ни возьмись, набежали человек двадцать ультра-религиозных евреев (их отличает особый вид одежды) и принялись кричать на меня за то, что я не говорю на идиш, не соблюдаю субботу, и что во всем этом виноват, конечно же, мой отец. Я стояла одна в этой толпе. Внезапно меня охватила безудержная ярость. Я затопала ногами и закричала, что им нет никакого дела до меня и до моей веры: "Ничего я вашего не взяла, ничего мне от вас не надо, вы мне никто!" – кричала я. И они исчезли так же внезапно, как и появились.

Я не рассказывала маме об этом происшествии, как ничего не рассказывала ей и о своих поездках в варшавское гетто, но она умела читать мои мысли, и, должно быть, без всяких рассказов догадалась, что что-то - не так.

Время от времени мы навещали в гетто маминых родственников. Среди них был парнишка по имени Гершко, он проболел три месяца, но потом поправился и стал давать мне на дому уроки английского. Тогда же он и рассказал нам по секрету, что во время первой облавы в Белостоке он спрятался, спрыгнув в канализационный люк и простояв там 12 часов по горло в грязи. Ночью одна женщина вытащила его, отмыла и одела в чистую одежду, а потом он добрался до нашего гетто, где находились его родители. Он посоветовал мне никогда не верить никаким пустым обещаниям насчет "трудовых лагерей". Немецкое слово "акция" означало полное уничтожение.

Единственным выходом было спастись бегством, и чем быстрее, тем лучше; бежать как можно дальше, используя любые средства. И я решила бежать.

Чтобы хоть как-то скрасить свою жизнь в гетто, я каждые день-два глотала по книге. Я прочитала "Воскресение" Толстого, в надежде понять, в чем спасение, но была разочарована. Взялась за другую книгу: "Сын Человеческий". Увидела там образ человека, может быть, гения или чародея, но ничего более. Лицо столь отдаленное во времени и пространстве не могло привести меня к спасению. Прочитала биографию Герцеля "Современный Моисей". Он полагал, что только возвращение на историческую родину спасет евреев. Когда я дочитала его книгу, мама сказала: "Ты будешь современным Моисеем".

Я не ответила, так как не хотела ранить ее, но я презирала евреев и не желала иметь с ними ничего общего. С какой это стати их судьба должна мне быть важнее, чем судьба любого другого народа? Я чувствовала себя настолько чужой в их среде, запертой в гетто, и это прямо здесь, в Польше – моей Отчизне. Однако мамины слова о современном Моисее запали мне в душу.

Еще она говорила, что если кто не стал признанным гением к двадцати годам, будь то хоть художник, хоть поэт, тот и с возрастом ничего не достигнет. Мне было уже шестнадцать – и никаких признаков гениальности...

Однажды, когда в один из весенних дней я сидела на балконе, вязала и наблюдала краем глаза, что происходит на базаре, внизу, мое внимание привлек симпатичный белокурый паренек. Мне пришло в голову, что я могла бы его полюбить. Я чувствовала в себе неисчерпаемые запасы любви. И я подумала: я должна продолжать жить, иначе, что же станется со всей этой любовью? И даже если бы Бога не существовало, мне было бы необходимо Его выдумать. Земля могла исчезнуть, а солнце – сгореть дотла, но сила моей любви останется на век, а раз так, - рассуждала я, -для моей любви мне нужен вечный и непреходящий объект. Им никак не мог быть этот блондин...

Сейчас я знаю, что это был совершенно не заслуженный мной момент благодати, который изменил всю мою жизнь. С этого момента я страстно искала Бога, но Бога не еврейского - иудейская религия вызывала во мне протест.

Я знала, что "они" могли забросать меня камнями, если бы узнали, сколь твердо я решила креститься, и насколько я их ненавидела. Мне было все равно: я хотела найти Бога, и, тем самым, – своё собственное счастье. Я мечтала быть христианкой, как Ванда. Как-то раз я спросила Збуцкого, могут ли католические священники научить меня, как найти путь к Богу и



полюбить Его. Тот цинично ответил, что они не больше знают о Боге, чем он или я, и что они все антисемиты и не станут меня крестить. У него были свои причины так думать.

Путь к священнику был, похоже, закрыт. Тогда, как же мне было найти путь к Богу, если ни мама, ни священник мне его не укажут? Никогда еще не было во мне столь сильной потребности верить в Бога. Я верила, что Он есть, но, казалось, не было никого, кто мог бы научить меня любить Его.

После светлого периода пришло время мрака и отчаяния. Много лет я не чувствовала существования Бога и не имела возможности узнать и полюбить Его. Я мало что знала об аде, но, должно быть, ад – это страдание без надежды. Я спросила маму, почему она не учила меня вере в Бога. Другие матери учили своих детей верить в Бога, любить Бога, а моя мама, казалось, не хотела мне этого дать. Она объяснила, что не приемлет веры моего деда. Поэтому, не хочет, чтобы я пережила нечто, подобное ее конфликту с родителями, надеясь, что я сама найду свой собственный путь к истине. Я поняла, что она мне говорила, но это мне не очень-то помогло.

Еще до Катастрофы я всех спрашивала, есть ли, в самом деле, Бог, и действительно ли они в Него верят. Ответы были самые разные, однако, ни один не убеждал меня. Кто-то даже спросил: "Можешь ли ты сказать время, глядя на тыльную сторону часов?"

Дзюня сказала однажды: "Я верю, потому что с верой жить легче, чем без нее". А я подумала: смысл жизни не может уложиться в это. Неужели только мне одной не дано верить, несмотря на то, что отсутствие веры так меня беспокоит? Я ужасно нуждалась в вере, нуждалась в некоей поддержке в жизни – как раз в тот самый момент, когда все рушилось. Мне был нужен кто-то неизменный, устойчивый и верный в то время, когда весь внешний мир ополчился против меня. Немцы перекрыли почтовое сообщение. Мы больше не знали, что происходит.

Одной большой, толстой нищенке разможили голову – чтобы утратить все гетто. Долгое время моя мама ни о чем другом думать не могла. Она читала газеты и была очень обеспокоена. Я знала, что газеты часто лгут, а потому вообще не утруждалась их чтением.

Мы попрятали оставшиеся мамин мехи у друзей, а дядя Альтер отправил их на хранение Збучкому.

Летом 1942 г. линия фронта приблизилась к Ленинграду и Москве. Это было начало конца. Внешне, вроде бы, все шло своим чередом, но все задумывались о будущем. Я решила бежать. Мама моя не хотела пускаться в бег и предпочитала умереть в своей постели. Это было ужасно, так как я знала, что не буду с нею, не смогу ей помочь. Это была ее третья война, и с ее натянутыми нервами выжить было невозможно. Это было время неизвестности и непредсказуемых событий.

В Новом Завете Иисус советует молиться, чтобы бегство не случилось в субботу или зимой. Наш побег пришелся на субботу, 22 августа 1942 г. Накануне мы с мамой, как обычно, спали рядом на нашей единственной кровати. Почему-то я не могла заснуть. Кровать стояла у окна, и я заметила на другой стороне улицы двух полицейских с винтовками в руках. Будить маму не стала, но примерно через полчаса она проснулась сама и увидела их. Она спросила меня, что бы это могло значить.

Я ответила: может, это из-за самолетов. Но сама прекрасно понимала, что ружья у полицейских – не для защиты от самолетов. Утром несколько человек, имевших разрешение на работу на железнодорожной станции, вышли, как обычно, из дому – и были убиты. Потом еще несколько. Один поляк-дантист и еще кто-то из польских друзей подошли к нашему дому, и мы сбросили им из окна кое-что из нашей одежды и лучших вещей.

В десять утра пришел мой двоюродный брат Нехемия, служивший в гетто в еврейской полиции, с приказом всем взять самые необходимые вещи и собраться на рыночной площади. Он должен был проверить, что все

явились на "ordnung". Почти все уже были на месте. Я увидела крестьянских лошадей и телеги, предназначенные для женщин и детей. На мне было несколько свитеров один поверх другого – я готовилась к побегу – и папино демисезонное пальто. Ещё я взяла с собой горшок меда (подарок пани Хелены Грушки-Каймерчак) и тяжелую сумку с простынями. Мама не хотела идти, но в квартире негде было спрятаться, так что пришлось спустаться вниз. Мы смотрели, как люди тащили огромные сумки и чемоданы, как, вдруг, немцы начали стрелять в толпу из автоматов.

Кто-то сказал нам, что Дзюня со своим парнем Адзиком бежали. Только не сказали, что немцы их убили. Еще кто-то рассказал, что Гершко, мой учитель английского, тоже бежал. Я села в телегу вместе с мамой. Там стоял Збуцкий, поляк-садовник – предмет моих любовных мечтаний. Я попросила у него воды, но он боялся оказать мне эту услугу. Я сняла с себя сумку, оставила ее в телеге. Отдала маме горшок с медом и сказала ей, что собираюсь бежать. Она спросила, неужели я оставляю ее совсем одну. Я ответила, что она тоже может бежать, и в мгновение ока прыгнула с телеги, - пока польский полицейский отвернулся. Я злилась на евреев: вместо того, чтобы спасти свою жизнь, они предпочитают умирать от рук нацистов, даже не пытаясь бежать, а ведь там всего-то было не более пятидесяти немцев на 4000 евреев.

Я добежала до сада пани Петровской, прыгнула в какой-то кустарник и залегла там. Там же, в кустах, я зарыла свое ученическое удостоверение. Меня заметили дети, и я велела им бежать скорее к Збуцкому и просить, чтобы он разрешил мне спрятаться у него в подвале.

Пока шли эти переговоры, я слышала стрельбу и очень беспокоилась. Ведь я оставила маму одну. Я даже хотела было вернуться к ней, но знала, что это бесполезно – я ничем не могла ей помочь. Все, о чем я была тогда в состоянии думать, так это - как теперь отсюда выбраться.



Во второй половине дня пришла невестка пани Петровской и принесла мне хлеба и молока. Извинилась, что хлеб черствый, сказав, что лучшего у нее не оказалось. Я поблагодарила ее и съела хлеб. Он показался мне с горчинкой. Моя гордость была ущемлена: впервые я была не в состоянии заплатить за хлеб.

В течение года Петровские были нашими соседями, и у нас сложились очень добрые отношения, и теперь вот, они рисковали жизнью, прислав мне этот кусок хлеба.

К трем часам дня крики и стрельба утихли. Толпа разошлась. Все боялись предоставить мне укрытие. Я обещала уйти с наступлением темноты в ближнюю деревню Свиняров, где у нас были друзья и заказчики. По дороге в Артихов был пруд, и я собиралась там искупаться – мне было ужасно жарко во всех этих свитерах. Но добравшись до деревни – уже в темноте, после девяти вечера – купаться я раздумала.

По пути мне пришлось спросить деревенского сторожа, как найти дом Смечухов. Дорогу мне указали верную, но поняли, что я скрываюсь от нацистов, и попросили Смечухов наутро меня выпроводить, так как боялись, что если меня там обнаружат, может пострадать вся деревня. Я притворилась, что крепко сплю, чтобы собраться с силами. А утром тихо и осторожно встала и умылась. Трудно было отправляться в неизвестность. У меня не было ни гроша, и я была совершенно беспомощна.

Когда я уходила, Смечухи сказали мне, что, чем думать только о собственной безопасности, лучше было бы мне остаться с матерью, и я почувствовала себя очень виноватой по отношению к ней. Они дали мне позавтракать и немного денег на дорогу. Их дочери отправились в церковь и показали мне дорогу в соседнюю деревню – Вычолки, в которой я знала деревенского старосту Калицкого.

По дороге встречалось немало людей, они возвращались из церкви. Ко мне подошел живший неподалеку скромного вида крестьянин – невысокий,



с наклоненной вправо головой. Он сразу понял, в какой ситуации я оказалась, и спросил, куда я иду. Я ответила, что к Калицким в Вычолки. Он сказал, что у него есть дочь моего возраста, и добавил: “У меня в сарае есть особый тайник для свиней. Ты можешь там спрятаться. К Калицким еще успеешь”.

Подошел кто-то из его соседей, спросил, куда я направляюсь. Вацлав Радзиковский, так звали крестьянина, ответил, что в соседнюю деревню.

У сарая сидела собака, а сзади была сделана маленькая дверца, что выходила прямо в поле. “Моя жена будет приносить тебе еду, но будь осторожна, чтобы тебя не заметил мой работник”, – прибавил он.

Я была ему очень благодарна и попросила шерстяной пряжи, чтобы что-нибудь им связать. Эти люди были так добры ко мне... Чувствовалось, что они хотели, чтобы я осталась у них. Пани Радзиковская носила мне еду. В воскресенье мне дали горячей воды, чтобы я могла помыться. Порой, пани Радзиковская, желая меня побаловать, приносила мне что-нибудь из фруктов или сок. Вечером мне дали подушку и теплую черную накидку. “Не бойся, паразитов у нас нет”, – сказал хозяин, протягивая мне накидку.

В тот вечер Вацлав Радзиковский хотел было лечь спать рядом со мной. Я попросила его вернуться в дом. Он ушел. Моя жизнь была в такой опасности. Если бы, вдруг, он стал настаивать, я разрешила бы ему все, чего бы он ни захотел. Итак, я улеглась в своей дыре, а он прикрыл ее сверху охапками соломы, чтобы никто не мог найти меня там. Мое вязание всем пришлось по вкусу, и я попросила еще пряжи. Я чувствовала себя в безопасности. Позади моего убежища открывался чудесный вид на поле и лес. Воздух был прозрачен и пронизан светом, и, казалось, сама эта гармония земли и неба свидетельствовала о существовании Творца. Я была счастлива. И думала: я буду жить, и я найду Его.

Это не было обетованием, а лишь отдаленной мечтой, о которой я никогда никому не рассказывала. Я хорошо знала, что мое выживание во

многом зависело от крепости моих нервов, и потому, нужно было найти такое видение жизни, что помогло бы мне пережить трудные времена и поддержало бы силы, несмотря ни на что. Мне хотелось забыть про евреев и отождествлять себя исключительно с поляками и христианством.

Я попросила пана Радзиковского сходить к друзьям нашей семьи и разузнать о маме, но он боялся. Я была настроена оптимистично и надеялась, что и маме тоже удалось найти подобное укрытие. В любом случае, если она где-то прячется, никто мне об этом не скажет. Я знала, что евреев из малых гетто согнали в Седлице и, в конце концов, истребили почти всех, но некоторым все же удалось бежать, и я была уверена, что среди последних была и моя мама. Нужна была установка, чтобы выжить, и я решила воспринимать каждый новый день как подарок. Меня могли убить вместе с остальными евреями, но на данный момент я была еще жива и взяла себе за правило не думать о прошлом или будущем, - лишь настоящий момент принимался в расчет. Если завтра меня убьют, мне нечего оставить укрывавшим меня людям, кроме моего доброго имени. Я пыталась помочь им по хозяйству. Если они вставали в 5 утра – я поднималась в четыре, чтобы помочь им. Их младшая дочурка Ирена еще не ходила в школу, и я пыталась учить ее читать; попросила для этого подходящую книгу. Но мне принесли только катехизис. Я всегда читала и вязала одновременно.

Впервые прочитав катехизис, я позавидовала маленьким детям, потому что там их учили, что "Человек создан для того, чтобы любить Бога и служить Ему", тогда как я до сих пор не знала, почему я существую и для чего осталась в живых. Многие отрывки из катехизиса запали мне в память, хотя я и не всегда понимала их смысл.

Вдруг я поняла, почему живу. Почему я человек. Я чувствовала, что нашла источник моей мечты, суть моих устремлений и поисков. И так, лежа

на соломе в сарае, чувствовала себя счастливой. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Это должно было потихоньку расти во мне само.

По воскресеньям все уходило в церковь, а я оставалась дома и играла с маленькой Иркочкой. Я вязала, одновременно мы вместе читали. Я рассказывала ей сказки. Как-то раз мы заснули в моем сарае среди вязанок соломы, и ее родители, вернувшись поздно и не обнаружив нас, повсюду искали с фонарем.

Однажды, после обеда, я не успела вовремя спрятаться от работника Радзиговских, и была очень напугана, но те попросили его молчать о том, что он меня видел, и парень свое обещание сдержал.

В холодные вечера, дождавшись полной темноты, они звали меня в дом. Я сидела на кухне и ужинала со всей семьей. Если вдруг кто-то заходил, я пряталась в соседнюю комнату. Всегда была опасность, что меня увидят в окно, но, привыкнув к везению, мы уже не так боялись.

Однажды, какая-то женщина из соседней деревни вошла без стука, и я не успела спрятаться. Пани Радзиговская сказала, что я ее дочь. Женщина ей поверила, принимая меня за их старшую дочь Басю, и восхищалась тем, как я выросла.

Несколько раз пан Радзиговский вечером возил меня с собой на телеге в поле собирать овощи, чтобы мне не сидеть все время взаперти.

По субботам, когда все копали в поле картошку, я убирала в доме. И иногда даже отважно выходила к колодцу за водой.

Шла вторая неделя сентября 1942 года. Однажды, в десять часов вечера, меня разбудил стук в дверь моего сарая; снаружи запаяла собака. Я была уверена, что меня выдали, и это немцы пришли за мной - быстро надела черную накидку и выскочила на картофельный огород за сараем. Перебегала от огорода к огороду. И думала: если они меня и застрелят – так теперь, в спину. В панике я все повторяла фразу из катехизиса: “Пресвятая Троица – Единый Боже, помилуй меня”. И удивлялась, почему эта фраза крутится у меня в голове и не покидает меня. Была кромешная тьма. Звезды казались такими далекими, и мне было так далеко бежать. В темноте я видела, как в домах зажигались огни.

Я думала, что это немцы видели, в какую сторону я бежала, и велели всем окрестным сельчанам выдать меня гестапо. Решила не заходить ни в какой дом и бежала все дальше. Добралась до леса, и как раз в этот момент заморосил теплый дождь. Я завернулась плотнее в накидку, улеглась под большим деревом и была счастлива; чувствовала себя в безопасности – как ребенок на руках у матери.

Я проснулась до рассвета. В тумане каждый куст казался чудовищем, а пастух со своим посохом – великаном. Я никогда не была трусихой, но все это выглядело пугающим. Поела лесных ягод, понимая, что на одних ягодах я долго не продержусь.

Спросила, как мне попасть в Вычолки, и как найти старосту Калицкого. Я казалась весьма подозрительной в своей заляпанной грязью белой юбке с желтым верхом и странной черной накидке. Без обуви, с растрепанными волосами и исцарапанным лицом.

Вычолки представляли собой одну-единственную улицу, вдоль которой стояли дома. Было 15 сентября, праздник “Богородицы Скорбящей”, так что



большинство женщин ушли в церковь, и пан Калицкий был дома один. Он принял меня, как родную дочь, и первым делом рассказал о маме, которая прислала какую-то женщину из Ольшанки разузнать обо мне. Я была счастлива, что мама жива и ищет меня...

Калицкий дал мне хлеба и молока, и я осталась в их доме. Никогда не забуду свой первый обед в этой семье – с белой скатертью, с ножами и вилками. Я спала во второй гостиной, а обедали мы на кухне. На стол ставилось одно общее блюдо с картошкой, а нам вместе с Эммой, их дочерью, давали на двоих особую тарелку.

Позднее, я сумела привыкнуть есть из общего блюда, и мне это даже больше нравилось, потому что так я чувствовала себя членом семьи, а не просто гостьей. Мне постелили чистые простыни – это после недель пребывания в сарае, по соседству со свиньей. Хотя мне и хорошо там спалось, все же я ощущала себя, как какое-то животное. Теперь же – почувствовала себя человеком.

Калицкие послали сына разузнать, что происходило в моей прежней деревне. Оказалось – это не немцы стучали в дверь сарая, а воры пытались украсть свиней. Они наткнулись на собаку, которая стерегла сарай, та залаяла, и воры убежали.

Обнаружив, что я сбежала через заднюю дверь, Радзиковский и его зять Казимир Галецкий оседлали лошадей и всю ночь искали меня по окрестным полям. Но я была уже в лесу.

Тем временем, их дочь Ваця обнаружила, что все мои вещи остались у них в доме. Но никто их не тронул. Радзиковские так хотели, чтобы я жила с ними и сама ими пользовалась. Они очень обрадовались, узнав, что я у Калицких, и обещали, в случае необходимости, помочь укрыться и моей маме.

Немцы постоянно формировали небольшие гетто, куда собирали евреев, тех, кто еще оставался в живых, чтобы их там уничтожить. Нехемия и его

старший брат Янкель, мои двоюродные братья, служившие в еврейской полиции, встретились в новом гетто. Нехемия был влюблен в меня еще с Лосице. Я над ним посмеивалась, а мама предупреждала его, что "есть незрелые яблоки вредно для зубов". Нехемия, как и другие члены юденрата, отвечал за порядок при депортации тысяч евреев из Лосице в Седлице, в том числе и членов нашей семьи.

Калицкий, который не боялся немцев так, как Радзиковский, попросил кого-то в гетто разыскать маму. Ее нашли и рассказали обо мне. Через два дня, – я вязала, сидя у окна, – приехал грузовик, полный немцев, а вслед за ним в деревню вошла женщина в платке и сером пальто.

На кухне у Калицких сидело несколько соседей. Незнакомка постучалась и спросила дочь Калицких, Эмму.

Её тут же привели в мою комнату. Из-за соседей на кухне нам с мамой пришлось сдерживать проявления нашей радости...

Я рассказала ей, как сбежала из сарая Радзиковских, думая, что за мной пришли немцы.

Мама вспоминала, что когда я спрыгнула с телеги на площади в гетто, она поняла, что и ей надо бежать. Она тоже спрыгнула. В три часа пополудни немцы повели всю колонну, пешком и на телегах, по направлению к Седлице. Она оставила все вещи с телеги нашему работнику – так легче было скрыться. Полякам было хорошо известно, что евреев ведут в Трешлинку. А на еврейском кладбище был приготовлен восьмиметровый ров для тел расстрелянных беглецов. Пан Романюк, друг моего дяди, пришел к нему утром в тот день, уговаривая спрятаться у него, потому что знал, куда направится конвой. Но дядя, Альтер Бекерман, ему не поверил: "Это неправда, ведь в юденрате с нас собрали золото и пообещали отправить в варшавское гетто". Последние их дни описаны в книге Пинхаса Ужера, который, - ему в то время было 16 лет, - работал вместе с моей мамой в новом гетто в Лосице.

Из-за политики юденрата, любого, кто покидал свое место в колонне, даже если он просто падал от изнеможения, немцы тут же расстреливали. После нескольких часов марша колонне случилось проходить мимо колодца. Люди бросились к нему напиться – так они были измучены жаждой. Немцы немедленно всех их расстреляли. Остальные дошли до Седлице. Был уже вечер. Из окрестных деревень туда были согнаны семнадцать тысяч евреев.

Три дня и три ночи все они провели на булыжной мостовой в центре города. Три дня лежали они там, раненые и умирающие, в крови и экскрементах, без пищи и воды; им было запрещено даже двигаться или приподнять голову. Все эти дни мои двоюродные братья, Янкель и Нехемия, в качестве “охранников порядка” должны были созерцать своих родных в этой массе людей, пишущих в агонии свои последние слова на булыжниках мостовой. 25 августа немцы завершили это дело: к тому времени все уже были мертвы. В тот день Нехемия бежал, и Янкель – вместе с ним.

Все это мама знала только с их слов. Потом она стала рассказывать, как ей удалось скрыться. Она шла с людьми, а когда стемнело – свернула в придорожное поле. Там уже повсюду валялись тела и узлы. Через некоторое время мимо проходила какая-то крестьянка. Мама окликнула ее, протянула свое обручальное кольцо и попросила о помощи. Та дала ей хлеба, воды, кусок колбасы и пообещала вернуться за ней поздно ночью чтобы взять ее к себе, а пока пошла своей дорогой. Тем временем немцы прочесывали поля с ищейками. Каким-то чудом собаки прошли мимо мамы, не тронув ее. Ночью женщина вернулась за мамой, но соседи пригрозили, что если она приведет еврейку – они сожгут ее дом. Рядом жил часовщик Здзибиховский с женой – беженцы из Варшавы, очень культурные люди. Детей у них не было. Они взяли маму к себе.



Мама не находила слов, как их благодарить. Она попросила меня тут же им написать и сказать, что "нашла свою звезду".

Маме не жилось спокойно у Здзибиховских, потому что она искала меня. Одевалась нищенкой и ходила по окрестным деревням и полям. Всмотривалась в каждую молодую девушку, и в каждой ей виделось мое лицо. Люди с удивлением глядели на ее босые ноги.

Она сообщила о своем местонахождении всем своим знакомым, чтобы они могли помочь нам найти друг друга. Хотя люди и боялись приютить ее на сколь-нибудь долгое время, все же относились к ней с любовью и пониманием.

Пани Петровская рассказала Хелене Грушке-Каймерчак, что в день ликвидации гетто в Лосице я пряталась у нее в саду, что она дала мне поесть, а вечером я ушла неизвестно куда. Позже пани Хелена рассказала мне: "Когда я увидела твою мать возле нашего сада, я была очень взволнована. Мы расцеловались, и обе плакали от горя и радости. Помню, на ее лице читалась усталость, отчаяние, физическое и душевное истощение; а ведь она всегда так следила за собой, всегда одевалась со вкусом и по последней моде. Мой отец пытался ее успокоить, они долго беседовали, но ей нужно было сначала отдохнуть, а историю ее мы бы еще успели выслушать. Ведь она была не просто кто-то посторонний с улицы – моя любимая подруга, а я не могла помочь ей отыскать дочь..."

"С нами по соседству, – продолжала она, – жил деревенский староста, а в подвале у него был еврей, который всегда кричал громким голосом. Он знал, что из-за него приютившего его старосту могут выдать немцам, но это его не останавливало. Мы не боялись. С первого дня ликвидации гетто мы знали, что ждёт евреев: сначала истребление больных и увечных, затем – женщин и детей. Всякий, кто пытался скрыться, надеялся, что поляки ему помогут, – и мы были готовы помогать."



22 августа отец попросил нас накормить беглецов. Один из них был ранен и мы выхаживали его два месяца. Когда он поправился, какая-то женщина дала ему револьвер. Он явился к отцу и, наставив на него револьвер, потребовал: "Гони деньги, либо я тебя убью".

Отец видел, что тот и в самом деле готов его убить, и отдал ему все деньги, что у него были".

Она рассказала мне кучу всяких небылиц, услышанных ею про меня и про маму, например, что я повредила рассудком и бродила по рыночной площади, крича: "Мама, мама", так что, якобы, даже немцы меня не трогали.

"Твоя мать ходила в Проченки искать тебя. Вернулась через две недели и отправилась искать снова. Не найдя, вернулась назад".

В поисках меня мама и пришла в новое гетто, думая, что там у нее будет больше шансов меня найти.

Однажды она поделилась со мной, что если бы ей случилось выжить в этой войне, она бы никогда не вернулась в нашу Лодзь. Она должна была бы до конца жизни остаться в Лосице, в знак благодарности тамошним жителям за все, что они для нее сделали.

Я отвела маму к Радзиковским, с тем, чтобы она довязала там платье, которое я не успела закончить. К тому же, лучше было не подвергать опасности Калицких, у которых я чувствовала себя как дома. Я любила их, да и они меня любили. У меня всегда было полно работы. Эмма пряла и красила шерсть, а я вязала для всей семьи свитера, носки и варежки.

При каждом удобном случае я навещала маму у Радзиковских. В городской управе работал польский майор Медунский, беженец с Волыни; он оформлял kennkarte (удостоверения личности – прим. перевод.). Калицкий попросил майора выправить kennkarte одной женщине. И этой женщиной была моя мама. Тот отказался: у мамы была столь типичная

еврейская внешность, что он побоялся. Вместо этого, пришлось купить ей фальшивое удостоверение за 2000 злотых, которые нам дал Нехемия.

В то время я имела неплохой и довольно здоровый вид, но была очень бледной, поскольку никогда не бывала на воздухе, и в таком контрасте волосы мои казались очень черными. Мама посоветовала прополоскать их с перекисью водорода, чтобы немного осветлить и выглядеть менее подозрительно.

Еще она посоветовала мне ходить с дочерьми Калицких в церковь на воскресную службу, чтобы люди ко мне привыкли. В темной полупустой церкви я чувствовала себя в безопасности. Однажды только я перекрестилась не так, как следовало бы, но никто этого не заметил, кроме приведшей меня туда Эммы.

Я завидовала Эмме Калицкой: она могла целиком погрузиться в молитву; такая глубокая вера меня впечатляла. Я тоже хотела верить и стремилась к Богу. Завела с Эммой разговор о Христе, ведь я знала о Нём только то, что вычитала в книге "Сын Человеческий". Та сказала, что Он был плотник, сын плотника, и это мне было вполне понятно. Но когда Эмма заговорила о Его божественности и о Святой Троице – на это я не знала, как и реагировать.

Я была изумлена, когда Ирена, дочь майора Медунского, рассказала нам, что в семнадцать лет она впервые в жизни солгала: мать спросила ее, не кокетничала ли она в саду, и она сказала, что нет. Я никогда не задумывалась, что такие мелочи могут иметь значение. Я никогда не испытывала угрызений совести по поводу всяких своих мелких грехов. Как правило, дома мне не было нужды обманывать, так как родители мне полностью доверяли. К тому же, мама моя была наделена необыкновенной интуицией и сразу обо всем догадывалась.

Однажды, в воскресенье, во время ранней мессы, мы с Эммой сидели на стене церковной ограды. Мимо проходила одна из наших прежних заказчиц,

еще со времен гетто, родственница пани Шидловской, и, увидев меня, улыбнулась. Я улыбнулась ей в ответ. Этот случай не обеспокоил меня, - я надеялась, что она будет молчать.

Первого ноября, в праздник Всех Святых, священник хадыновской церкви восемь раз произнес "Блаженны..." Более всего меня впечатлили слова: "Блаженны нищие". И еще он говорил, что легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть на небеса, - это звучало как осуждение богатым. В церкви собиралась, в основном, местная аристократия – люди относительно состоятельные. Священник им не льстил.

По мнению социалистической газеты «Подзямин», которую мы с папой обычно читали, «попы только и ищут пути, как набить себе брюхо и запудрить людям мозги». Тогда я с этим соглашалась, но позже была уже не столь в этом уверена и совершенно разуверилась в социализме.

Эмма, будущая жена майора Медунского, попросила его сделать мне kennkarte. Он ничего не знал о моем родстве с «женщиной еврейской наружности». Ему дали все мои так называемые «данные», и моя kennkarte была почти готова, требовалась лишь фотография. Калицкий повез меня в Лосице, к Збуцкому, - пригласившему фотографа к себе на дом. После всех тех ужасных событий, Нехемия каким-то образом узнал, что я там буду, и пришел со мной повидаться. Мы обнялись и тепло расцеловались. Збуцкий смотрел на нас с невероятной ревностью.

По случаю получения kennkarte я хотела отблагодарить своих хозяев и Медунского. Мы приготовили разные салаты и устроили вечеринку. Вдруг появился незванный гость – офицер местного гестапо со своей «дамой», и мы были вынуждены пригласить их на вечеринку. Меня отправили на кухню раскатывать тесто на пирожки, чтобы гестаповец не задавал лишних вопросов. Они танцевали в гостиной, выпили немало водки, гестаповец пришел на кухню и потащил меня танцевать. А мама моя тем временем



сидела в затемненной внутренней комнате, прислушиваясь к происходящему. Представляю себе, что она при этом чувствовала.

А вскоре произошло непоправимое. Пани Шидловская разболтала по всему Хадынову, что я еврейка, самая настоящая еврейка. Майор испугался и решил удостоверения мне не выдавать. Ирена, его дочь, разыскала в отцовских бумагах уже готовое удостоверение и хотела отнести его мне, но майор обнаружил пропажу, отнял у дочери документ и страшно на нее рассердился. Выходило так, что мне нельзя было больше оставаться в этом месте.

Станным был мой последний вечер в доме Калицких. Молодежь уже уснула, я осталась одна с пани Калицкой, она долго сетовала на людскую подлость и глупость, так что мне все время приходилось ее утешать. Я говорила, что найдется кто-нибудь другой, кто довяжет свитера – сейчас важнее спасти вся семью от опасности, что я нигде не пропаду, что никогда их не забуду. Ну, конечно же, я знаю, что их дом всегда открыт для всех, и для меня в том числе, так что, может, еще увидимся...

Радиковский пристроил меня к знакомым в соседнюю деревню, Болесты. Там я вязала, учила грамоте хозяйского сынишку, а по утрам и вечерам усердно молилась у всех на виду.

Однажды ночью, в соседнем дворе украли кувшин. Наутро двое полицейских пришли расследовать кражу. Пострадавшего дома не оказалось, так что зашли они к нам, и как только увидели меня в горнице, так сразу же заявили, что я – еврейка. Я стала отпираться, хозяин меня поддержал: "Да она ж каждый день молится!" "Молится, не молится – все равно мы ее заберем", – сказали они. По дороге я старалась убедить их, что я не еврейка, но, оказывается, они и раньше видели меня в Лосицах, когда я вязала на балконе дядиного дома.

Тогда я стала упрашивать их отпустить меня, пообещав пять золотых царских рублей. Они сказали – мало. Я добавила еще 200 злотых – все, что



у меня с собой было. В конце концов, они согласились взять рубли, и даже 200 злотых мне оставили, чтобы я не осталась без денег в дороге. Все эти переговоры заняли ровно четверть часа. Отпустили меня с условием, что я уйду далеко, туда, где никто меня не знает – ведь в здешней округе многие знали племянницу Бекермана. А на новом месте я, по совету все тех же полицейских, Пажишека и Рутковского, могла бы выдать себя за беженку из Замощи. В тех краях жители долго сопротивлялись немцам, несколько деревень были сожжены, и, конечно же, не у всех, кто спасся, остались документы. Я ведь прекрасно говорила по-польски, да и внешность у меня не была типично еврейской. Это меня и спасло.

В тот же вечер я честно попыталась уйти подальше, но не нашла ни работы, ни крова, так что пришлось мне нарушить свое обещание и пойти к Галецким, родне Радзиковских, которые рассказали обо всем моей маме.

Мама испугалась: как же мне жить дальше, если я не смогла найти пристанища даже на одну ночь? Может, добровольно присоединиться к полякам, угоняемым в Германию? Но и к ним мне пристроиться не удалось.

Постучалась я наугад в стоявшую на отшибе, занесенную снегом хибарку. Там жила крестьянская семья Издебских, но люди занимали там только половину дома, а во второй половине держали скот. У ребятишек не было обуви. Я связала им теплые носки из шерсти со льном, а они сделали мне из досок постель. Сами они, все трое, спали на печке, в которой пекли хлеб – там всем хватало места. Я прожила у них две недели. Они очень жалели меня, помогали охотно, говорили, чтобы я и дальше оставалась у них, но через две недели я стала замечать, что Издебский опасается за свою семью. И ушла.

Пошла навестить маму, - она жила тогда у Галецких, - и мы вместе отправились в гости к Нехемии. В семье Яблонских, в деревне Корчовка, что недалеко от Треблинки, ухаживала за коровами еврейская девушка, Лодзя Петрчак. Она уговорила хозяина спрятать в погребе, замаскированном под кучей навоза, троих парней: Нехемию, Гершко – моего бывшего учителя английского, и еще одного Бекермана – не родственника, а однофамильца. Это был человек очень религиозный, все время читал Библию. За проживание хозяин брал с них плату. Когда у Нехемии кончились деньги, он стал расплачиваться принесенными мною маминими шубами. Еду для них хозяин из осторожности покупал в разных деревнях.

В канун Рождества мы вязали в верхних комнатах, а хозяин, Эмиль Яблонский, все время ходил и повторял: "Трудные времена, ох, и трудные..." Не хотелось ему видеть нас с мамой в своем доме, особенно меня – он словно предчувствовал, что я принесу ему несчастье. За день до Рождества мама поставила елку, большую, до потолка, убрала ее всю ватным снегом. И эту ночь, единственную из всех, я провела без страха. Накрыли стол белой скатертью, пригласили ребят, сидели, пели все вместе. Ночевали мы у ребят в погребе.

Лишь через много лет после этого я узнала, что у Яблонского были основания бояться: в подвале его дома была мастерская по изготовлению фальшивых документов.

Потом мама вернулась к Радзиковским, а я пошла куда глаза глядят, стучалась в незнакомые двери, просилась на ночлег.

Той зимой мама попросила меня еще раз заглянуть к Нехемии. Я попросила Лиса, в которого была влюблена, подвезти меня на телеге. Но он, не доезжая до деревни, свернул в трактир, и остаток пути я прошла пешком. Яблонский спросил, как я добиралась, и я сказала, что меня привез Лис. Он испугался и сказал, что Нехемии у него нет. Несколько дней спустя Яблонские увидели в окно, как их дом окружают конные гестаповцы. Они успели предупредить ребят, те выскочили из погреба, но Гершко и Бекермана позднее были пойманы и убиты, а Нехемии всё-таки удалось уйти. Лис действительно донес немцам, что в доме Яблонских прячут евреев, но Яблонские откупились продуктами – утками и цыплятами.

Через некоторое время, я тогда жила у Улясюков, Нехемия сам разыскал меня. Хозяева пустили его в кладовку. Несколько ночей мы спали рядом на полу, но я запретила ему прикасаться ко мне. Он был страшно перепуган. Потом ушел, не сказав, куда.

Лишь несколько месяцев спустя пани Яблонская сказала мне, что он по-прежнему живет у них в погребе. Сразу она мне об этом говорить не хотела

– опасалась за мою нравственность, потому что, когда она однажды пришла к Нехемии в последнее оставшееся гетто, он ей рассказал, что у него каждую ночь бывают разные девушки: там ведь все знали, что им недолго оставалось жить.

Издебские, прослышав, что я не могу найти пристанища, позвали меня; и я вернулась к ним, с благодарностью приняв предложение поработать две недели в Кршеске, у их тестя. Там, однажды вечером в дверь постучал парень в лохмотьях, попросился в амбар переночевать, но ему лишь дали кусок хлеба. Я побоялась сказать ему, что я тоже еврейка – все равно не могла ведь ничем помочь.

Надо сказать, что в тех краях зимой почти не мылись, овчинные тулупы были полны вшей, так что болезни были не редки, в том числе и тиф.

Некоторое время спустя я пришла к Галецким – повидаться с мамой. В доме у них была всего одна маленькая комната, где мы с мамой спали на одной кровати, которую на время уступила нам жившая у Галецких четырнадцатилетняя девочка-сирота; сама же она устроилась на соломенном тюфяке, на полу, а на другой кровати спали сами Галецкие. И тут у меня вдруг начался жар.

Я глотала пирамидон и гоголь-моголь, но сильная головная боль не проходила, все тело покрылось красными пятнами. Мама не боялась заразы, потому что уже перенесла тиф во время Первой Мировой войны. Мы лежали рядом и говорили по душам. Мама сказала, что всегда каким-то образом знает, что происходит со мной, а я ... я говорила с ней скорее как с сестрой, чем с матерью. Тогда же я сказала ей, что если выживу – стану христианкой. Ведь не ради шерстяного свитера рисковали жизнью все эти люди, впускавшие нас в свои дома. В принципе, мама была со мной согласна, но беспокоилась – что скажет отец? Вдруг он подумает, что мы решили начать креститься, чтобы спасти свою жизнь? Я успокаивала ее: неужели он так плохо нас знает?



Долгими ночами мама разъясняла мне свое жизненное кредо: хочешь жить хорошо с людьми – живи так, чтобы и людям с тобой было хорошо. Она изливала передо мной душу, даже “исповедалась в грехе” – оказывается, она очень хотела жить, и был даже момент, когда она внутренне согласилась жить без меня, если я погибну. Впрочем, она несколько раз повторила, что ей все равно не выжить. У нее сдавали нервы, хотя внешне она выглядела вполне здоровой.

Я жаждала веры, стремилась обрести какой-то внутренний стержень, и, в то же время, в глубине души стыдилась этого стремления. Оправдывалась перед самой собой, говорила себе, что просто у меня сейчас такая религиозная стадия развития, ну, как вот было у всего человечества в Средние века, а потом это у всех прошло. Так и мне сейчас необходима слепая вера, а потом я, вероятно, от нее откажусь... Наверно, Бог посмеивался над всеми этими ребяческими рассуждениями, и, исподволь, все ближе подводил меня... к Себе.

Тем временем прошел слух, что немцы собираются конфисковать кур в деревнях. Заодно с курами они вполне могли обнаружить и нас, так что мне пришлось спешно уходить. Прощаясь со мной, мама сказала: “Да направит тебя Бог”. Могла ли я тогда подумать, что расстанемся мы навсегда?

Я так ослабела после тифа, что не могла даже сидеть. Радзиковские пожалели меня и на телеге отвезли к Калицким. Четыре ночи я пролежала у них на кухне, накрывшись отцовским пальто (я не хотела брать простыню). Не могла ничего есть; все, что мне предлагали, приходилось, в конце концов, скармливать курам. Постепенно температура спала. Когда немцы стали подходить к Вычолкам, Эмма, усадив меня в телегу, отвезла к Издебским. Там я стала постепенно выздоравливать и начала ходить. Издебские были очень бедны, но жалели меня, хотя и боялись, что меня могут обнаружить в их доме. Как-то раз, когда я уже поднялась после болезни, Издебский поехал на похороны своего зятя. Тот заболел тифом

одновременно со мной и умер. Это был двадцатилетний парень, красивый и добрый, хороший работник и кормилец семьи, и я все думала: ну почему же умереть должен был он, а не я – никому не нужная, всем обуза...

Меня позвали в церковь на панихиду, но я не пошла – не хотела, чтобы меня видели. Попросилась к Йозефе, сестре Лиса, и неделю прожила у нее. В доме было двое маленьких детей, я спала рядом с ними, ужасно боясь их заразить, но уйти куда-нибудь у меня просто не было сил. Я никому не сказала о том, что больна, так что уже на следующий день мне пришлось мыть полы. Вся семья жила в крошечной комнатухе 2 на 3 метра. Есть я, по-прежнему, не могла и думала, что наверное скоро умру; но была настолько ослабевшей, что относилась к этому совершенно равнодушно.

Зато обо мне очень беспокоился староста – я, ведь, не была тут прописана, поэтому он все искал способ отправить меня куда-нибудь подальше.

29 марта 1943 года брат Йозефы вернулся из Лосице и сказал, что на еврейском кладбище немцы расстреляли мою маму. Сначала я ему не поверила, но через пару дней, собравшись с силами, – поскольку оставаться тут уже больше было нельзя, – пошла в Вычолки разузнать о ней.

Пани Капицкая долго каялась мне, рассказывая, что не смогла удержать маму дома, отговорить ее от затеи походить по соседям, чтобы найти покупателя на свой пояс и на вырученные деньги немного подкормить меня. Я ее успокаивала, говорила, что мама все равно ушла бы от них, чтобы не быть обузой.

Так мама и ходила по домам, пока в Болестах, в дом, где она находилась, не зашел сын лесничего – в зеленой форме, с ружьем за плечами. Немецкая форма тоже была зеленой. Мама побледнела, руки у нее задрожали.

Он заметил ее испуг и спросил, не еврейка ли она. Она предъявила свое фальшивое удостоверение, но он не поверил ему и забрал ее с собой в

Лосице, надеясь, что за бдительность получит на выпивку. Три дня ее держали в тюрьме, пытаясь дознаться, где она пряталась все это время. Били много, но она так и не призналась, что еврейка, и не выдала тех, кто ее прятал в течение 7 месяцев, - тем более, она знала, что ей уже не спастись. То, что она погибла, мне позднее подтвердила жена Пажишека, полицейского.

А пока что, пани Калицкая пыталась меня утешить, говорила, что, может быть, это была вовсе не моя мама. Я побежала в соседнюю деревню к Радзиковским в отчаянной надежде увидеть ее, услышать ее голос. Но, конечно же, там ее не нашла, а Радзиковские сами ничего толком не знали.

И тогда, ночью, я пробралась в Лосице, к Петровским. Пани Петровская познакомила меня с пятилетней беженкой Зосей, жившей в их доме, и предложила, в случае чего, назваться ее двоюродной сестрой. Она уже слышала о гибели мамы и, чтобы окончательно убедить меня, позвала Чеслава Збущого. А тот, из жалости ко мне, не хотел рассказывать правды.

Он сказал, что целую неделю дежурил на кладбище, но за это время там не было расстрелов. Ни я, ни Петровские ему не поверили. Ночью мне приснилось, что я кладу цветы на мамину могилу.

Все окружающие очень жалели маму, и это усиливало мою скорбь. Вспоминали ее доброту, вздыхали, - как же это она могла погибнуть. А я так ослабела, что впала в какое-то оцепенение, даже плакать не могла. Все силы уходило на то, чтобы выжить, а без документов шансов на это было немного.

Я пошла к полицейскому, который уже помог мне однажды, и попросила его помочь раздобыть мне удостоверение личности, да такое, чтобы выглядело вполне убедительно, со ссылкой на свидетельство о рождении - тогда уже никто не смог бы доказать, что я еврейка.

Полицейского Пажишека дома не было. Его жена, выслушав мою просьбу, предложила мне удостоверение личности какой-то женщины, расстрелянной неделю назад. Но я его не взяла.

...Это было удостоверение моей мамы.

А в комнате, на единственном стуле, лежал и пояс – тот самый, который мама пыталась продать. Какие мне еще нужны были доказательства?

Полицейского не ждали домой раньше следующего дня, и я зашла пока-что к часовщику Здзиховскому, который приютил маму в первый день после побега. Он тепло меня принял и очень огорчился, узнав о гибели мамы. А полицейский, вернувшись, сказал, что с удостоверением помочь не может.

Пани Яблонская предложила мне адрес некоего молодого человека, который мог достать мне свидетельство о рождении, а я попросила, и она дала мне маленький молитвенник, в котором я нашла очень хорошую главу о сострадании.

Так я и ходила из дома в дом в поисках работы и крова. Устроиться на ночлег удавалось обычно лишь к ночи, когда я начинала уже терять надежду. Тогда-то я и научилась находить совершенно невероятный выход из самых безнадежных ситуаций и начала верить в Провидение. В конце концов, я всегда угадывала, в какую дверь постучать, но очень уж все это было утомительно.

Снова и снова обдумывала я мамину идею отправиться на работу в Германию. Но я так ненавидела немцев, что боялась сорваться, если меня вдруг обзовут “польской свиньей”, а кроме того, без удостоверения личности сойти за польку все равно не было никаких шансов.

Во время этих скитаний я однажды увидела в небе красное зарево. Крестьяне тоже на него смотрели, но при этом оглядывались на меня. Я не могла понять, в чем дело. Лишь позже я узнала, что это в 120 км от нас горело восставшее варшавское гетто.



Становилось сыро и холодно. Просясь на ночлег, я первым делом говорила о том, что я беженка из Замоще. Иной раз люди удивлялись странному цвету моих осветленных волос. Я старалась не думать о будущем, я вообще боялась думать...

Однажды меня пустили в дом, стоявший на отшибе, в поле. Я была очень рада, что смогу отдохнуть несколько дней от скитаний, повязать, почистить картошку, поработать сидя. Хозяева оставили меня дома одну, а сами ушли в поле – разбрасывать навоз. И вдруг в окно я увидела, что к дому идут пятеро полицейских.

Дом стоял на отшибе, при нем не было даже огорода – ни бежать, ни спрятаться было некуда. Я отворила дверь. "Еврейка?" – тут же спросили они.

"Беженка я, из Замоще." Они устроились в комнате, только один подошел поближе и разговаривал со мной через открытую дверь кухни. Он уже почти поверил, что я из Замоще, из семьи польских патриотов, как вдруг спросил: "А волосы-то, зачем осветлила?" "Так красивей", - ответила я. "Верно", - задумался он, – "Вот и жена моя тоже осветляет. А чего ты дрожишь? Чего боишься-то?" "Так вы же дверь открытой оставили, холодно мне".

Тем временем вернулись с поля хозяева, зажарили гостям яичницу, ну и водки, конечно, не пожалели. Один из полицейских спросил хозяина, чего он в церковь не ходит. "Сапог нету", - ответил тот. Ему тут же и поверили.

Мне, правда, поверили не все. Один из полицейских, по фамилии Вержиковский, сказал мне очень тихо, - так, что никто другой не услышал: "Знаю – еврейка ты. Да у меня твоих лет дочка..."

Вскоре, все они подобрали от водки и начали меня жалеть. Они как раз искали себе в участок повариху, и предложили мне эту должность. Я ответила, что готовить не умею.

“Ничего, выучишься! Родня нашего начальника тебя всему научит. Комнату тебе отведем, удостоверение выдадим, в Германию не угонят!”

Конечно, после всех моих скитаний предложение это выглядело очень заманчивым, но я побаивалась. Ведь полиция и жандармерия работали на немцев.

Полицейские попросили хозяев приютить меня до воскресенья – потом они устроят меня в участок. Я три ночи не спала, все раздумывала, стоит ли совать голову в пасть тигру. Но бежать теперь значило подвести хозяев, которые и так уже лишились из-за меня всех своих запасов водки. Так что в воскресенье я поблагодарила их и отправилась в участок, в надежде скрыться, как только получу обещанные бумаги.

Полицейские, человек 10, сидели в приемной комнате и смотрели на меня. “Так ты и вправду не еврейка?” – спросили они. “Была бы еврейка – разве пришла бы к вам?” – отвечала я. “А может, и пришла бы... Ну, да ладно, по-польски ты говоришь правильно, а нам все одно, повариха требуется”.

Дежурный был приветливым и, видно, культурным. Все прочие – грубые и пьяные. Поселили меня с родственницей начальника, которой поручили обучить меня секретам поварского искусства.

И еще три ночи я не спала, раздумывая, как бы выбраться отсюда.

Чтобы удостовериться, что я не еврейка, и выдать мне свидетельство о рождении, полицейские послали меня “на экспертизу” к священнику в Кршеск. Тот решил проэкзаменовать меня по основам христианского вероучения. Что я знаю о Боге?

“Бог есть Любовь”, – ответила я. “Нет, – сказал священник, – это не главное. Главное – что Бог есть Совершенное Бытие”. “А то, что Он – Любовь, значит, следующее?” – “Нет, и не следующее”.

Никак не могла я взять в толк, что любовь к “Основам” не относится. Что Бог есть Любовь, я вычитала в своем маленьком молитвеннике, больше я оттуда ничего не запомнила. Я не могла себе представить, что у христианской веры могут быть какие-то другие основы, да еще целых шесть.

Правда, я очень подробно ответила на все вопросы о своем рождении, сказав, что крестили меня в Лодзи, в церкви Святого Креста. Однако когда я сказала, что мы из деревни Вержея, и что девичья фамилия моей матери – Вержейская (что на самом деле так и было), – то явственно прочла в его взгляде сомнение.

Возвращаясь в участок, я все еще надеялась получить свидетельство. Вечером начальник спросил меня, как дела. Я призналась, что не смогла ответить на вопрос об основах веры. Он ответил со смехом, что на таком экзамене он, пожалуй, и сам бы провалился. Я смеялась вместе с ним, но на душе было беспокойно: ведь я сказала священнику неправду. В конце концов, я решила назавтра снова к нему пойти и рассказать все как есть, – ведь ответ, который он получит на свой запрос из Лодзи, все равно не сулил мне ничего хорошего. Но когда я пришла, он сказал, что письмо в Лодзь уже отправил. Я поблагодарила его, с тяжелым сердцем вернулась в

участок, лихорадочно соображая, как же теперь выпутываться. Наконец, я сказала начальнику и его родственнице, что не хочу работать в полиции: мой отец ни за не согласится, чтобы его дочь служила немцам. А потому я уйду, как только получу удостоверение. Тем временем, вокруг нас собрались все полицейские, и я сказала им, что Лодзь теперь за граница, почта ходит плохо, так что ответа оттуда придется ждать не меньше месяца.

“Может, я лучше съезжу к друзьям в Варшаву, они мне удостоверение и сделают, у них в подполье связи”.

Конечно, сказать такое полицейским – риск немалый, но я чувствовала, что им можно доверять.

“Да ведь удостоверение-то фальшивое будет”, – возразили они.

“А если из Лодзи свидетельство о рождении придет – как вы проверите? Может, оно тоже будет фальшивое? Что толку месяц дожидаться? Дайте мне только справку, что я у вас тут работала”.

Но дать мне такую справку они побоялись.

Один из них, по фамилии Залевский, отправился на велосипеде в Седлице и подбросил меня до станции, где я села на варшавский поезд и доехала до местечка близ Варшавы, где жил Анджей, с которым я познакомилась через В... Самого его дома не оказалось, вернулся он только через три дня, в канун Пасхи, - так что я, ожидая его, по просьбе его матери с удовольствием перестирала в доме все занавески. Меня очень удивило, что мать Анджея совсем не боялась общаться с евреями. У нее квартировала девушка по имени Ванда, - правда она была с “арийскими” документами, - и ее отец платил хозяйке 300 злотых в день. Она и не думала прятаться от соседей, обедала с нами на открытой веранде. Отец Ванды был очень богатым фабрикантом. Несмотря на то, что он был глубоко верующим, он понимал важность образования и по субботам посылал дочь в школу.



Приехал Анджей. Я рассказала ему всю свою "полицейскую историю". Он тут же отправился со мною в Варшаву, и свидетельство о рождении мне было изготовлено за полчаса. Совсем как настоящее, на старом бланке давно уже разрушенной церкви в Вильно. Анджей, видимо, не очень доверял мне из-за моих контактов с полицией. В уплату я отдала ему отцовское обручальное кольцо (денег у меня не было), и он проводил меня на поезд, идущий в Седлице. Я честно пришла в участок, но с таким документом полицейские меня принять отказались и посоветовали отправиться в деревню Блазье, в семью Мрозов.

Там я работала в поле, пасла коров, прибирала в доме. Эти два месяца оказались для меня самыми трудными. У меня даже обуви не было. Ходила босиком и плакала украдкой, уходя в поле.

На Пасху я пошла с хозяевами в церковь. Я уже знала, что женщины сидят там справа, мужчины – слева.

Там я вновь ощутила всю правоту христианства по сравнению с иудаизмом: старое должно уступить место новому. В мае после работы люди собирались перед крестом, установленном на открытом месте, вместе читали и молились, и среди них я чувствовала себя счастливой. Все это было для меня простыми и честными уроками любви.

Но через некоторое время соседи заподозрили неладное, пошли толки, что я еврейка. Полицейский из Кршеска пришел разбираться. Хозяйка еще раз повторила ему, что я католичка, что так записано в моем свидетельстве о рождении. Он потребовал свидетельство. Может, он просто забыл, что при первом нашем знакомстве я называла совсем другую фамилию, говорила, что я из Лодзи, а не из Вильно, - как было написано в "документе", - но, так или иначе, он посмотрел на меня и сказал: "Все в порядке. Чего вы от нее хотите?" И все же за моей спиной продолжали шептаться, по деревне пошла волна страха. Тогда хозяева заплатили мне за работу, сказав, что держали меня, пока могли, а уж дальше, мол, сама, как знаешь.

Затем, пожив немного в Блазье, я отправилась к пани Залевской в Сток-Ляски, но у нее в огороде работы было мало.

Она отвезла меня в другую деревню, Хою, - к Халине Луговской. Та с мужем и двумя маленькими детьми всю войну прожила у деда с бабкой: старики спали наверху в горнице, а молодая семья внизу на кухне.

Халина сама выросла сиротой, и что такое бездомная жизнь - объяснять ей нужды не было. На одной постели спали они с мужем, на другую, с тремя ребятишками, положили меня. Дети не могли ходить в школу - не было обуви.

Так же, - в тесноте, да не в обиде, - сидели мы все и на кухне: Халина готовила, я вязала, дети играли. Только муж Халины ходил на работу, а больше никто из нас из дома никуда не выходил - холодно было. Старики и соседи предупреждали Халину, что меня в доме держать опасно, но она привязалась ко мне и с интересом слушала рассказы о моей прежней жизни. Как-то я рассказала ей, как мама пекла халы - булки-плетенки, какие обычно едят евреи по субботам и праздникам. Халина сразу же предупредила меня, чтобы я никому об этом не рассказывала - чувствовалось, как она за меня беспокоится, как любит меня.

Потом Халина отвела меня в семью З.. Те жили в достатке, все в доме было, как положено, и хорошую работу они умели ценить. Я там вязала, а заодно, пани З. научила меня мыть деревянные полы. У меня была маленькая, но отдельная комнатка. Я и знать не знала, что в подвале у них прячется еврейская семья - супруги Бедка с сыном. Про это мне пани З. рассказала только в 1987 году, когда я вновь посетила Польшу.

А потом работа моя закончилась, и получила я за нее, как обычно это бывает у богатых, чуть поменьше того, что давали бедные, и одна женщина отвела меня к хозяину-вдовцу в Кобыляны. Я знала из рассказов мамы, что деревня эта когда-то принадлежала моему прадеду, но помнившие об этом старики уже давно умерли. Долго задерживаться у вдовца мне не хотелось,

так что, при первой же возможности я ушла – к Розалии Белегорской-Гавинковской, в деревню Корница. Семья ее занимала половину дома в самом начале деревни – комнату в два окна. Там они жили с мужем и двумя детьми, там же была и кухня.

Места в комнате на пятерых не хватало, так что постель моя оказалась у самой неплотно закрывавшейся двери, через щель порошил снег, но под лебяжьей периной мне было тепло. С утра я помогала Розальке по дому, затем присматривала за детьми. Именно тогда я начала ощущать присутствие Бога – как бы Его ни звали. Ночью я часами смотрела в окно на звезды, беседуя с этим, еще неизвестным мне, Всемогущим. У соседки Ирены нашлась в доме Библия. Я попыталась, было, ее читать, но истории, вроде встречи Исаака с Ревеккой у колодца, интереса у меня не вызвали.

Месяц спустя, сидя у открытого окна, я случайно услышала, как сосед убеждал мою хозяйку поскорей от меня избавиться, чтобы не навлечь беды на деревню. Розалька не согласилась, но велела мне обязательно по воскресеньям и праздникам ходить в церковь.

Однажды, когда церковь была битком набита людьми, приехавшими из Варшавы за продуктами, священник, Зигмунд Вахуляк произнес проповедь на тему: “кесарево кесарю, а Божие – Богу”. Он говорил так: “Когда немцы приходят и требуют отдавать им свиней – можете подчиниться, в том нет греха. А вот если немцы требуют евреев им выдать – такого делать нельзя. У еврея та же бессмертная душа, что и у каждого из вас. Долг ваш – помогать им, давать пищу, одежду, кров”.

Я стояла на хорах. Не знаю, слышал ли священник уже тогда обо мне или нет. Но, во всяком случае, после той проповеди толки обо мне прекратились.

За неделю до Рождества вдруг загорелся амбар старосты. В деревне его не любили, завидовали его богатству, поэтому не очень-то спешили помочь. Я просто смотреть не могла, как все стоят, сложа руки. Один только Чеслав



Горзала полез на крышу, а я снизу стала подавать ему ведра с водой. Когда подошли два священника местной церкви, я попросила их позвать людей на помощь: тяжело мне было одной таскать ведра; но ничего из этого не вышло. Даже священники не могли победить всеобщую неприязнь к старосте. В конце концов, огонь удалось потушить.

На следующее утро я проснулась с трудом. "Ванда, Ванда", – звала меня Розалька, – чего лежишь-то? Вчера на пожаре-то вон как бегала!" "А тут пожара нет", – ответила я с вызовом. Она рассердилась. Я тогда еще не понимала, какие политические разногласия были в деревне, и почему мне пришлось стараться одной.

А на праздник Чеслав Горзала привез из Зубчина, из монастыря бенедиктинок, где были его сестры, стихи одной монахини, сестры Лодзи; а еще он привез стихи тринадцатилетней еврейской девочки Рени, прятавшейся в этом монастыре, – стихи ребенка ищущего Бога. Позднее, отец Сулей, сам родом из Збучина, достал для нее удостоверение личности. Окончив школу, она крестилась, а потом вышла замуж за директора больницы в Щечине, и сын их тоже стал врачом в той же больнице.

После Рождества, священники обычно ходят по домам и проверяют, как их прихожане знают катехизис. Ждали священника и у моих хозяев. Соседки гадали, что будет, если он о чем-нибудь спросит и меня. Всем было известно, что я не знаю даже самых простых молитв. Но священник все понял, вопросов мне не задавал, сказал только: "А ты молодцом держалась на пожаре".

Когда полгода спустя этот же священник меня крестил, он вспомнил, как тогда не стал задавать мне вопросов – только похвалил за старание.

По вечерам я нередко забегала к соседке Стасе или к Агнешке и Франтишеку Внетржакам, беженцам из Гиловице. В их скромной квартире всегда толпился народ. Ангешка зарабатывала шитьем. Она не оставляла



работу даже когда к ним приходили гости. Бывал там и Чеслав Горзала. Нередко он вдруг выдавал поэтический экспромт про кого-нибудь из присутствующих. Однажды ему сказали, что умные люди не в Бога верят, а в науку. Он ответил: "Интеллектуалы додумались своими мозгами, что Бога нет. А я вот – верю".

В те времена такое высказывание требовало немалого мужества. Но именно его слова меня окончательно и убедили. Помню, с каким нетерпением я ждала, когда же он напишет обо мне.

И он написал:

Что сказать мне тебе?

Путь мой гладок, и жизнь безопасна,

Знаю, что меня ожидает...

И с бессильною жалостью я

Наблюдаю за страхом твоим

В этом мире – чужом и враждебном.

Путь твой темен, грядущее – скрыто...

Но ведь милостив Бог.

И не зря ты мечтаешь, что вскоре

Кто-то свет привнесет в твою тьму,

В этот мир,

Где лишь в буре рождается счастье.

Как мог он так глубоко понимать меня? Где он узнал все это?

Настал новый, 1944 год. Я встречала его у Стаси. Я непрерывно смотрела в окно, словно предчувствуя, что в этом году в мою жизнь должно войти что-то новое. Все надо мной смеялись, за окном были только тишина и снег. Я еще не представляла, какое счастье ожидает меня.

Удостоверение личности мне выдали в Чурылах, в нем, правда, не было указано предыдущее место жительства. Чеслав узнав, что удостоверение уже готово, а я боюсь идти получать его, сходил за ним вместо меня. Он меня очень выручил. А мне пора было искать себе новое пристанище: Розалька была слишком бедна, чтобы оставить меня у себя еще на одну зиму.

Лучше всего было бы, конечно, устроиться у бедняков: они обычно и в плате щедрее, и в отношении ко мне добрее. Чеслав обратился к своему другу, Мариану Пеховичу, с просьбой приютить "дальнюю родственницу, которая скрывается от угона в Германию". Тот сначала согласился, но увидев меня – испугался.

И тогда его жена, Люцина, спросила: "А если б с нашей дочкой приключилось такое?" И они приняли меня. Правда, при условии, что Чеслав их предупредит, если в окрестностях появятся немцы, чтобы успеть отправить меня к бабушке, жившей примерно в километре от них. Дом их с трех сторон был окружен лесом, с четвертой было поле и дорога в церковь. Для жительства мне отвели кладовку. Я ее вымыла, выскребла, постелили мне там постель, поставили маленький столик и стул. Хозяйка научила меня собирать в лесу хворост на растопку и укладывать его так, чтобы он не отсырел. Плату мне положили – литр молока за дойку коров и килограмм хлеба за обучение детей.

Все ребятишки мне понравились: и девятилетняя Ханя, и семилетняя Марылька, и Тадзе пяти лет, и совсем еще маленькая Мирка. Но играть с ними было куда приятнее, чем обучать их чтению, письму или катехизису. Они не привыкли сосредотачиваться, так что иной раз я теряла терпение и

шлепала их по рукам. Легче было в поле работать, чем воспитывать такую компанию.

Переделав все дела, я садилась вязать для Люцины, за отдельную плату. Люцина очень хорошо ко мне относилась. Иногда приезжал Чеслав, беседовал с Марианом, а мне привозил книги и журналы. В одном из них я прочла: "Бог ближе всего смятенной душе". Значит, это мне Он ближе всего...

В марте Чеслав сказал, что в наши края приезжают священники из Варшавы, и предложил мне пойти их послушать. Я ответила, что уже достаточно наслушалась священников в Варшаве, но он продолжал настаивать, чтобы я непременно пошла т.к. был убежден, что спасает мою душу. Я легкомысленно ответила, что все равно попаду в ад (ад я себе, в общем-то, толком не представляла, да, по правде сказать, не очень-то в него и верила). Но на следующий день, все же, пошла в церковь. Села на свое привычное место на хорах, рядом с Розалькой, и стала слушать.

Священник говорил о почитании родителей. Рассказывал, как Мария и Иосиф в Иерусалиме потеряли Иисуса, как они искали Его, как расспрашивали друзей и знакомых... И говорил он, почему-то, совершенно теми же словами, какими мама рассказывала мне о том, как она меня искала, и в них звучало то же страдание. Тут и Розалька вспомнила свою маму, и мы обе заплакали.

С того дня я не пропустила ни одной проповеди.

Отец Генрик Сулей рассказывал нам о рае и аде. Какой искренней была его радость, какой неподдельной – печаль... Оказывается, ад – это не место такое где-то в подземном царстве, это – состояние души, которая знает о Боге, но не в силах встретить и полюбить Его. Моими словами он говорил о моем страдании там, в гетто, где я в то время так искала Бога, и не было рядом никого, кто привел бы меня к Нему.

Наверное, и вера у этого человека была такая же открытая, искренняя, как его улыбка. С каждой проповедью возрастал мой энтузиазм. На одной из последних проповедей он призвал всех собравшихся молиться о тех, кто стремится к обращению, но не в силах его достичь. Крестьяне преклонили колени. Я чувствовала, что они молятся всерьез. И молились они за меня... Я тоже хотела молиться, но не смогла...

Именно их молитва совершила чудо: растопила ледяной панцирь, сковывавший мою душу. До сих пор я помню, где именно на обратном пути я остановилась и сказала своей спутнице Ирине, что мне нужно возвратиться в церковь – срочно поговорить со священником. На церковном дворе стоял Чеслав, он очень обрадовался, сказал, что священник на кухне; туда я и пошла.

Там уже собралось много народу. Женщины принесли яйца и всякую снедь для детей, которые жили в школе-интернате в Белянах, - позже я узнала, что там прятали много еврейских детей. Я подошла к отцу Сулею, сказала, что хочу поговорить с ним наедине. Он увел меня на балкон. Там было холодно, но вскоре мне стало жарко.

“Я хочу креститься”, – сказала я.

“Что ты знаешь о Пресвятой Троице?” – спросил он.

“Наверное, это – как белый луч, который, преломляясь, распадается на семь цветов радуги... Или как вода, которая превращается в лед и в пар...”

“Не совсем так, – ответил он, – но для начала неплохо. А как ты живешь? Есть у тебя какие-нибудь документы?”

Я ответила с гордостью, что у меня есть даже удостоверение личности. Кроме крещения мне ничего не надо.

Он сказал, что через две недели будет в Збучине, хорошо если бы я нашла его там.

Когда подошел срок, я вернулась к Халине Луговской, потому что ее деревня Хоя была ближе всего к Збучину. На встречу с отцом Сулеем я



отправилась в Страстную Пятницу. Я не знала, что в этот день Евхаристии не бывает, и сказала Халине, что иду причащаться. Но усмешка на ее лице промелькнула лишь на мгновение – она заставила себя мне поверить.

В маминых сандалиях я шла по снегу и думала о том, по каким дорогам я побреду, когда закончится война...

Посреди церкви было выставлено для поклонения большое распятие. И после службы я тоже встала на колени перед распятым Христом. Впервые в жизни я целовала с любовью кровавые раны на Его лице. И почему-то с первой же минуты ощутила, как Бог любит меня. Может быть, от избытка самоуверенности – но страха перед Ним я не испытывала никогда, не испытываю его и по сей день.

Через некоторое время приходской священник пригласил меня в дом, находящийся при церкви, – подождать отца Сулея. Там меня усадили у огня, чтобы я просушила ноги, и дали почитать “Историю одной души” – автобиографию французской кармелитки Терезы Младенца Иисуса. Эта книга открыла мне жизнь Кармеля и смысл жертвенности.

Потом пришел отец Сулей и стал рассказывать мне всю историю Искупления, начиная с бунта павшего ангела – сатаны, и кончая крестной жертвой Спасителя. Мы были вдвоем в комнате. Он был красивый мужчина, и мне вдруг пришло в голову, что я могла бы его поцеловать. Он же, словно прочитав мои мысли, сказал, что лучше говорить о таких вещах коленопреклоненно. Таким мне и запомнился мой первый урок. Второй я получала уже от другого священника – отца Хойецкого из Радзиковской церкви.

Закончив работу у Халины, я вернулась в Малинович, в “свою” комнату. Зигмунд Вахуляк, тот самый пожилой священник, который когда-то не стал задавать мне вопросов, сказал, что он, в принципе, мог бы подготовить меня к крещению, но у него слишком много времени и сил отнимает хозяйство, так что он решил лучше поручить это дело молодому отцу

Хойецкому. "Трудно будет, – сказал, – но если ты и вправду веришь, то он справится".

После этого я целый месяц жила гостьей у него в доме. Сначала я хотела, было, начиная новую жизнь, рассказать всем правду о своем еврейском происхождении, но отец Сулей запретил. Я просила его прийти ко мне на крещение, и он обещал.

Однако одних духовных восторгов для крещения было недостаточно – требовались еще определенные знания, а я не знала даже катехизиса, не говоря уже о Библии. Отец Хойецкий дал мне Новый Завет, велел прочесть Евангелие от Иоанна и прийти к нему на следующее утро в половине одиннадцатого. Я пришла, но с большим опозданием. Отец Хойецкий стоял у дверей и явно нервничал. Как раз в это время три тысячи священников были брошены в тюрьмы и концлагеря. Что, если я просто провокатор и донесла на него в гестапо? Но о своих тревогах ничего говорить не стал. Спросил только, почему я опоздала.

"Я читала Евангелие и времени не замечала", – ответила я. Он улыбнулся.

Я и вправду читала запоем, не в силах оторваться. Я была в восторге особенно от заповеди "любите врагов ваших". Ясно, что человек никогда не смог бы придумать такое. Задавленная ненавистью, я обретала веру, открывающую любовь и сострадание и напоминающую о том, как много мне дано, так много, что никогда в жизни не смогу вернуть этот долг. Хлеб свой я всегда отработывала, но чем я могла отблагодарить тех, кто давал мне кров, за риск, на который они шли, подвергая опасности себя и свои семьи? Только Бог мог вознаградить их. Сколько я ни работала, я все равно была беднее всех. Но теперь я отдавала 5% своего заработка тем, кто был еще беднее, кто и в деревне-то жить не мог.

Однажды во время занятий священник спросил меня, что такое надежда. "То, что дает силу жить", – ответила я. Ответ был, конечно, не по

катехизису, но он сказал, что я не только прилежная ученица, но и искренний человек. Ему я всегда могла поведать, что у меня на душе, он понимал меня.

Однажды, когда я вязала на церковном дворе, ко мне вдруг подошла одна из прихожанок, известная своей религиозностью и любовью к сплетням, и спросила: “А ты не дочка ли той, из Лодзи, что вязала на всю округу?” Внешне я не была похожа на маму, но меня выдавали глаза – такие же, как и у нее, глаза затравленного зверя. Конечно, этот разговор меня очень напугал, но отец Хойецкий обещал уладить это дело.

Крещение было назначено на 29 мая 1944 года, это была суббота, канун праздника Пресвятой Троицы – второй раз в году, когда Церковь поминает крещение первых христиан. Я чувствовала себя одной из тех евреев, что обратились там, в Иерусалиме, но по-настоящему значение этого события я поняла гораздо позднее.

В мае в Польше каждый вечер поются особые молебны Деве Марии, поэтому после работы многие идут в церковь.

Отец Сулей, несмотря на обещание, приехать не смог, служил отец Хойецкий. Он предложил мне в крестные своего отца, но я хотела, чтобы им был кто-нибудь более молодой, - вся моя семья погибла, хотелось бы хоть с крестными подольше не расставаться. И я решила пригласить Чеслава Горзалу – ведь это он помог мне найти путь к Богу. Подойдя к нему в церкви, я увидела, как он взволнован – видно, почувствовал, о чем я собираюсь его просить. Свои обязанности крестного он воспринял очень серьезно и не забывал о них до последних дней своей жизни.

А крестной матерью стала незнакомая мне до того сестра отца Хойецкого, Ирена, всего на пять лет старше меня.

Накануне мы во всех подробностях разобрали обряд крещения, в том числе и белые одежды, в которые должен облакаться новокрещенный. Священник спросил, есть ли в моем гардеробе что-нибудь белое. Придя

домой, я перебрала все свои платья и рассмеялась: ничего у меня белого не было, кроме полотенца. Потом я испугалась - вдруг, я вспомню об этом и расхожусь в церкви. Я рассказала обо всем отцу Хойецкому, и он изо всех сил старался поддержать, уверить меня; чувствовалось, что он действительно очень заботится о спасении моей души.

За два дня до моего крещения отпевали семью Высокинских, казненных за то, что прятали евреев, сбежавших по дороге в Треблинку. Из всей семьи уцелел один только маленький мальчик. Люди в церкви были печальны, а я ничего не замечала. Я была в тот момент слишком занята собой. Переживала, что вот придется мне теперь всю жизнь исполнять предписания церковного начальства. Я, конечно, горячо стремилась к вере, но была в некотором смятении: что будет, если ее потеряю? В ответ мне только сказали, что веру не меняют, как перчатки.

Последние три дня перед крещением я провела в затворе, в молитве. Часов у меня не было, и, боясь опоздать, я 29 мая прибежала в церковь на рассвете, она была еще закрыта: отец Вахуляк уехал объезжать свои поля.

Когда он, наконец, вернулся и отворил дверь, Ирена, сестра отца Хойецкого, расплакалась, глядя на меня: как жаль, что мама не могла увидеть, как я счастлива. Отслужили две мессы, народ разошелся, остались в церкви только священник, крестные да я. Согласно обряду крещения, священник спросил меня, отрекаюсь ли я от всех заблуждений и предрассудков иудаизма. Но я о них ничего не знала, даже про 10 Заповедей не слышала. Затем надо было отречься от "сатаны и всех дел его". Затем ответить на вопрос: "Желаешь ли ты крещения?" И я от всего сердца ответила: "Да".

Крестные положили руки мне на плечи, и волнение мое понемножку улеглось.

"Какое принимаешь имя?"

"Тереза", - ответила я. - "Хочу, чтобы меня звали Терезой".



“Ванда-Тереза, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа!”

Никто не сказал “Аминь”, но в тишине мне показалось, что слово это прозвучало с небес.

На голову мне полилась вода, и вдруг я почувствовала себя чистой – чистой, как младенец. Теперь все зависело только от меня самой. Всем сердцем я взывала к Богу, стремилась предать себя Ему. Невозможно было выразить мои чувства, но я знала, что в эту минуту решается все. Мне дали белую свечу, белый платок на голову, и мы прошли в главный алтарь.

“Хочешь причаститься?”

“Да”, – ответила я. Священник зажег свечи, стал читать покаянную молитву, а я подумала, что после крещения еще не успела согрешить. Счастливая, я приняла Святые Дары и сказала Господу без упрека: “Как долго я ждала Тебя”. Отец Хойецкий позвал меня по имени. Я хотела поцеловать его руку, но он не позволил. Я увидела букет белых лилий. Чеслав выбрал именно их, хотя и не знал, что это были любимые цветы моей мамы. И так потеплело на сердце, словно она была рядом со мной.

Пора было уходить из церкви, чтобы не привлекать излишнего внимания. Перед уходом я расцеловалась с Иреной. Она плакала во время службы, но, конечно, не от тоски по маме: ее-то мама была жива, здорова и очень ее любила.

В тот день выдалась на редкость хорошая погода. Чеслав приглашал меня к себе праздновать Троицу, но я решила вернуться к Пеховичам. Шла лесом, благодарила природу, которая вместе со мной воспевала любовь и мир. Всякий раз, идя лесом, я восхищалась деревьями, старыми и молодыми, нежной зеленью молодой листвы и думала, что вот он – самый совершенный, самый прекрасный храм Божий. Глаза мои были широко открыты – красота природы теперь являла мне ее Создателя, в каждом листочке я видела Бога.

Я присела на землю, открыла молитвенник – подарок отца Хойецкого. Прочла пояснение к одному из псалмов Давида: “Псалом покаянный, в ожидании Мессии”. Оказывается, все так просто!

Как же могут евреи читать те же самые псалмы и не понимать? Впервые в жизни я ощутила к ним не неприязнь, а любовь и жалость. Как же помочь им обрести Бога?

Первый месяц после обращения стал для меня поистине медовым месяцем, не омраченным размышлениями ни о будущей учебе, ни о прошлых бедах. Я имела право наслаждаться счастьем во всей его полноте.

Но теперь пришло время начинать жить и работать по-христиански.

У Люцины, моей хозяйки, был хлопот полон рот: она пекла пироги к празднику, и помощь моя пришлась очень кстати. Она знала, что все это долгое время я провела в церкви, ни о чем меня не спросила, а просто протянула свежеевыпеченный пирог, и мы принялись за работу. Я поблагодарила Бога за такой вкусный завтрак.

Три дня я жила, как бы погруженная в любовь Божью, и что бы ни делала – делала по любви. Я твердо решила любить ближнего как самоё себя. Так что, притащив из погреба картошку, я спросила Люцину, что еще надо сделать. Но она, догадавшись, что я хотела бы пойти в церковь, сказала, что теперь уж справится сама. Только после этого я умылась и надела нарядное платье.

Причастие было для меня важнее мессы, а сама месса – слишком коротка. Когда кончалась ранняя месса, я оставалась на вторую, чтобы поблагодарить Бога, потом, после второй, оставалась еще – помолиться своими словами. Я непрестанно беседовала с Богом, радуясь, что могу излить все, что накопилось во мне, Тому, Кто понимает все мои нужды. Конечно, я молилась и по молитвеннику. А вскоре Хеленка, которая украшала церковь цветами, попросила меня ей помочь. С какой радостью я

поднималась по ступенькам алтаря, приближаясь к Дарохранительнице... После Причастия я всякий раз стремилась сохранить в себе внутреннюю тишину, понять, чего ждет от меня сегодня Иисус, и постараться исполнить Его волю. В первую неделю после крещения я хотела причащаться каждый день – как первые христиане. Потом целый день работала, а вечером снова бежала в церковь.

Собирая в лесу хворост на растопку, я раздумывала, как же открыть пребывающему во тьме еврейскому народу путь к Благодати. Я ведь такая же еврейка, но вот удостоилась великого счастья, которого им не дано... Я понимала, что самой мне никогда не удастся убедить их, даже если я воспользуюсь всеми мыслимыми техническими средствами (которых у меня, впрочем, и не было). Ничего у меня не было, кроме радости обретения Бога после всех тягот жизни без Него... И если так, если мне единственной из евреев так повезло – я должна посвятить свою жизнь молитве за них. Решено: после “медового месяца” вступаю в орден кармелиток. Если уж мне заведомо не удастся приблизить евреев к Богу – попытаюсь Бога приблизить к ним.

Прежде я и подумать не могла, что обрету в вере такое счастье. Раньше, до крещения, я чуть-чуть знала о Евхаристии, и она представлялась мне чем-то непривлекательным и бледным. Лишь после Причастия я узнала ее силу. За работой я вспоминала всю свою жизнь: как вело меня Провидение через все опасности, по извилистым тропам моего собственного “я”, как всякий раз удерживало на краю пропасти, и сердце мое наполнялось благодарностью.

В страдную пору хозяйка моя родила дочку, Мирку. Роды были тяжелыми, и после этого целую неделю вместо жатвы, которую я очень любила, мне пришлось помогать ей по дому. Готовить мне было труднее, чем работать в поле, да и в церковь ходить я не успевала. Но что поделаешь – заповедь любви к ближнему была важнее. Как только я вновь

появилась в церкви, отец Хойецкий спросил, почему я не ходила на службы, но не поверил сразу моим словам о том, что это из-за того что слишком много работы, – захотел взглянуть на мои руки. И, увидев, улыбнулся: “Ну что ж, труд облагораживает”.

Всю первую неделю после крещения я не снимала своих “белых одежд”. Потом сняла, но причащаться ходила по-прежнему каждый день, успокаивая себя, что если с тех пор не грешила, то все в порядке. Пришлось отцу Хойецкому объяснить мне, что даже самые чистые души должны исповедоваться не реже, чем раз в две недели.

Но и на исповедь я шла с радостью. Правда, я не всегда соглашалась с отцом Хойецким, ему часто приходилось подолгу убеждать меня, но мы всегда находили компромисс, и я продолжала им восхищаться. Призналась ему, например, что я ленивая и потому с трудом встаю по утрам, а он сказал, что это не грех, грех – только леность в молитве. Узнав, что одной молитвы недостаточно, что надо еще участвовать в страданиях Спасителя, я решила каждую пятницу поститься, сидеть на хлебе и воде, а чтобы пища не ввела меня в искушение, съела в четверг все свои припасы. Отец Хойецкий спросил, кто благословил меня на этот пост. Я же просто, как дочь отцу, ответила, что не понимаю, зачем нужно благословение на добрые дела.

А однажды случилось так, что после исповеди я просто плакала от счастья: он назвал меня “дитя мое”. Мне было тогда уже 19, но я так нуждалась в родительской любви! Мне так хотелось почувствовать себя маленькой. Только в Церкви я обрела то, что искала. Песнопение “Не плачь, дитя” всегда вызывало у меня слезы. Я и была той самой сиротой, что плачет, глядя, как матери ласкают своих детей. Ведь моя мама меня уже никогда больше не приласкает. И все же, после крещения я вновь ощутила себя в безопасности в руках Божиих, как когда-то, совсем маленькой, чувствовала себя в безопасности у мамы на руках. Я была уверена, что



мама там, на небе, молится за меня. Ведь последние слова, что она мне сказала, были: "Да направит тебя Бог". Вот Он и направлял меня...

Раньше я старалась делать прическу, которая была мне к лицу; теперь же просто расчесывалась на прямой пробор. Отец Хойецкий дал мне книги "Провидение", "Да, Отче" и "Исповедь Блаженного Августина", где я прочла, что его мать, св. Моника, советовала пить поменьше воды; и я утоляла жажду чтением. Я открывала для себя, что "Бог есть жизнь души". И была счастлива.

Между тем, мое ежедневное причащение не осталось незамеченным. Стали расспрашивать отца Хойецкого обо мне, а он отвечал только, что мое главное достоинство – умение не противиться Благодати. Но даже и он, наверное, не представлял себе, сколь естественно не противиться благодати после стольких лет ожидания. Ведь в те дни я была убеждена, что без крещения Благодать не дается, а тот, кто принял крещение, уже не может грешить: он становится совершенным, как совершенно учение Христово... Время излечило меня от этих прекраснодушных заблуждений.

Однажды вечером я осталась с детьми одна – хозяева ушли к родственникам на крестины, и мысленно созерцала тайну души этого младенца, что становился сегодня новым членом Тела Христова. Как, вдруг, услышала крики и брань.

Люцина с трудом довела до дома пьяного вдрызг мужа. Я кинулась закрывать за ними дверь, а он стал бегать по дому, ругаться и крушить все, что подвернется под руку.

Вся эта сцена страшно меня унизила, и на ближайшей исповеди я сказала священнику, что с тех пор я чувствую себя так, как будто бы я во тьме и беспокойстве. Он все понял. Посоветовал мне вести созерцательную жизнь по примеру Терезы Авильской, сказав, что величайшие подвижники переживали эту тьму и ночь души, что настоящая

любовь это не чувство, но воля – решимость любить. И я успокоилась, поняв, что путь мой лежит через пустыню.

Я все еще не могла взять в толк, почему жизнь устроена столь несовершенно. Примеров тому всегда было много, но прежде я замечала лишь то, что касалось непосредственно меня, до других мне не было никакого дела. Теперь же я ощутила, что связана с окружающими, разделяла их тяготы, училась любить их.

Свекровь моей хозяйки прислала ко мне из Корницы парня – в женихи. Но я сказала ему, что уже обручена. Он спросил, с кем. “С лучшим из наставников”, – ответила я. К немалому моему облегчению, он не стал настаивать.

В другой раз сестра отца Вахуляка пригласила меня на вечеринку. За несколько дней до того отец Хойецкий что-то говорил о партизанах, я решила, что это был намек, и приняла приглашение. Я всегда мечтала о борьбе с оккупантами. Но увы! За столом распивали водку “сливки” здешнего общества, меня просто хотели познакомить с ними. Возвращалась я в разочаровании, хоть и получила в подарок коробку конфет.

Иисус был так добр ко мне! С самого начала я почувствовала, что Он относится ко мне как к дочери или любимой сестре. Я была рыбой, выброшенной на берег, и Он снова возвращал меня в воду – в живую воду христианства. До крещения я опасалась, что вера моя со временем начнет ослабевать; теперь же, я жила с надеждой, что Бог не даст мне отдалиться от Него.

Но отец Хойецкий был неспокоен. Он знал из своих книг, что чрезмерная религиозная экзальтация может довести человека до душевного расстройства. И все время предостерегал меня, чтобы я не перестаралась, не пыталась перестать быть самой собой. Мне же, напротив, все происходившее казалось совершенно естественным.

Люцина еще не оправилась после тяжелых родов, поэтому на время жатвы пришлось нанять в помощники паренька по имени Станислав. Я узнала, что он давно уже не был ни на исповеди, ни у Причастия, и однажды вместе с детьми привела и его в церковь и сообщила отцу Хойецкому, какой он великий грешник. Священник опечалился: "Бедный мальчик... как долго пробыл он без Бога..."

Я все поняла. Мне стало стыдно. Но тем больше у меня было оснований для счастья, для благодарности за великий дар веры.

Я уже начала размышлять, в какой монастырь мне пойти. О.Хойецкий монахинь не любил. Он рассказал мне историю одной монашки, которая присматривала за детьми и сама съедала большую часть предназначавшегося им мёда.

Меня тянуло в орден кармелиток. Я уже много читала о них и понимала, как сумела святая Тереза Малая в страданиях обрести счастье. Она верила, что ценой ее страданий Истина откроется многим душам. Но трудно было говорить об этом с отцом Хойецким, знавшим только Сестер Божественного Милосердия, что ухаживали за ним в больнице.

В середине июня 1944 г. Чеслав заявил: "Немцы подняли руки, мы свободны". Но Седлице, ближайший город, еще бомбили, и оттуда к нам временно перебралась семья Грейбус – друзья Мариана. Я уступила им свою комнату, а сама спала в амбаре на чердаке, по утрам Мариан его отворял. Однажды, проснувшись, яглянула вниз и ... увидела на полу человек 20 спящих советских солдат. Я даже не слышала, как они вошли ночью. Знали бы они, что я тут, наверху...

Пани Грейбус рассказала нам, что прятала у себя в доме пятилетнюю еврейскую девочку – светловолосую, миловидную, любимицу всей семьи. Но та заболела и умерла. И вот теперь, в память о ней, они решили пригласить меня к себе в Седлице. Там я могла бы учиться в школе, а заодно помогать в учебе их сыну.

Отец Вахуляк не очень обрадовался этому плану. Сколько зажиточных крестьян посылали своих детей учиться в город, а те с пути сбивались и пропадали ни за грош. Сумею ли я одна из всех удержаться? Все же я решила принять предложение Грейбусов пойти учиться, как только откроется школа. Однако перед отъездом спросила отца Хойецкого, к кому мне в городе пойти на исповедь. Он ответил просто: "А ты приглядишься в церкви, к кому больше стоит народу – к тому и иди". Но мне это не понадобилось: я достаточно часто навещала в Радзиков и могла по-прежнему исповедываться там.



Пани Грейбус оказалась женщиной очень доброй, но несколько нервной. Если я поздно садилась за уроки, она прогоняла меня спать. А ведь я уже перезабыла почти все, что учила когда-то в школе лосицкого гетто.

Однажды в воскресенье она сказала, что собирается на свадьбу, и попросила меня приготовить ей вечернее платье. Я разозлилась: что ж она, раньше подумать не могла? В воскресенье работать грех! Конечно, платье получилось плохо. Тут уж она разозлилась и швырнула его в печку. Но затем мы помирились, и она относилась ко мне по-прежнему хорошо.

Я всегда любила учителей истории, и в седлицкой школе учитель у нас был прекрасный. Он умел найти к нам подход, старался привить навык самостоятельного мышления, исследовательский дух, прислушивался к нашему мнению. По вечерам мы устраивали встречи. Это нас очень сближало, давало каждому возможность рассказать о себе. Начинал рассказ обычно сам учитель. И вот что он нам однажды сказал:

“Я был в депрессии, всерьез задумывался о самоубийстве, однако никому об этом не говорил, никто об этом не знал. И вот в тот самый вечер, когда я решил уже покончить с собой, вдруг прибежала моя сестра. Оказывается, мама на расстоянии почувствовала, что со мной что-то неладно, и послала сестру мне помочь. Материнская интуиция так меня потрясла, что я оставил всякую мысль покинуть этот мир”.

Однако, многое из того, что он говорил на уроках, пугало меня, сбивало с толку, грозило подорвать мою веру. Он никогда не отзывался критически о Боге, Иисусе или Пресвятой Деве, часто цитировал Новый Завет, но смотрел на историю иначе, чем написано в катехизисе. Говорил, например, что о дереве судят по плодам, напоминая при этом, какие прекрасные плоды принесло масонство, или ООН, или Красный Крест, или ИМКА (протестантская просветительная организация – прим. перевод.). Поговаривали, что он и сам масон – сами понимаете, что это значило в такой католической стране, как Польша. Я прониклась к нему доверием и

почти готова была заявить, что эти попы вконец задурили мне голову, и уже хотела попросить его помочь мне обрести истину, как, неожиданно для себя, на первой же исповеди, пришедшейся как раз на период нового религиозного экстаза и ежедневного причащения, рассказала обо всем отцу Хойецкому. "О масонстве ты судишь неверно", – сказал он. Впрочем, не будучи сам историком, он не брался объяснять мне конкретный смысл тех или иных явлений и событий, в одном только был уверен: лучше мне Церковь не покидать. Его любовь и забота убедили меня лучше всяких слов, и я вернулась в Седлице успокоенная.

Тем временем слухи о нашем учителе дошли до епископа. Он специально пришел к нам на урок, послушал и ... похвалил учителя: "Это замечательно, что Вы учите детей думать".

Как-то раз в седлицком соборе я встретила Масю и Мисю Петровских, с ними я училась вместе в лосицкой школе и в их огороде пряталась, когда мне пришлось скрываться. Собор от бомбежек почти не пострадал, но во время службы, то и дело раздавались призывы жертвовать на его восстановление. Как тут было не вспомнить слова учителя о священниках, что злоупотребляют наивной верой народа.

Окончив школу, я намеревалась учиться дальше. Пани Грейбус, при всей своей симпатии ко мне, никак не могла понять, зачем мне это нужно. Однажды я разговаривала об этом с одним молодым преподавателем латыни, и он предложил мне поселиться у него: он помогал бы мне в учебе, а я бы присматривала за его маленьким сынишкой. Но пани Грейбус ужасно огорчилась - не хотела меня отпускать - и соглашалась на любые университеты; так что, в результате, я оставалась у нее, пока в январе не освободили Лодзь. Вот теперь она стала настаивать, чтобы я вернулась в свой родной город. Но там у меня никого не осталось. Люди, которые меня спасли, с которыми я подружилась, жили здесь, в окрестностях Седлице. Какой был смысл возвращаться на пепелище?

И все-таки я села на первый же поезд, отправлявшийся в Варшаву. "На" – было в буквальном смысле, потому что ехали мы на крыше советского товарного состава. Кто-то подал мне идею попроситься в кабину машиниста. И тот действительно меня впустил – добрый человек попался. На крыше мы сидели под дождем, а в кабине было тепло и сухо. На полпути, в Цеглове, остановились на 12 часов – кончились дрова, и все пошли в ближайший лес рубить деревья для паровозной топки. Я все спрашивала, скоро ли тронемся и в ответ неизменно слышала: "А тебе не все равно? Времени-то – хоть отбавляй".

К утру добрались до маленького городка под Варшавой. Мост разбомбили, пришлось пешком переходить наполовину замерзшую Вислу. Ботинки мои были полны воды, так что железнодорожники на станции первым делом посадили меня сушиться у печки, а потом с этой же станции первым поездом я отправилась в Лодзь.

Прежде всего, я побежала к Ванде. Она уже вернулась домой - с матерью и дочуркой - и двери их особняка на улице Нарutowича были по-прежнему открыты для всех; хотя с едой поначалу было туговато.

Ванда рассказала мне, что однажды, во время войны, она, сидя как-то в кресле, вдруг явно почувствовала, что рядом – ее отец. Через некоторое время из Освенцима пришло сообщение о его смерти, датированное тем самым днем.

До войны отец Ванды, доктор Вецковский – полковник медицинской службы, член городской управы, "Демократического клуба" и совета попечителей нашей школы – делал все, что в его силах, чтобы Польша стала евреям настоящей Родиной. Не раз за это страдал и он сам, и его родные. Когда вышло постановление, что в Варшавском университете евреи должны сидеть отдельно от остальных студентов, брат Ванды, Анджей, сел с "ними". После этого его избили так, что он попал в больницу.



Польскую интеллигенцию немцы начали уничтожать еще раньше, чем евреев. В начале оккупации доктор Вецковский попытался скрыться. Он уехал в деревню, вместо Станислава стал Антонином, вместо врача – учителем... Но это не помогло. Он был арестован и погиб в Освенциме. Его именем названа одна из улиц в Лодзи.

Сын его, Анджей, во время войны у себя в доме прятал евреев. Но после войны он запил и, в конце концов, умер. Материалы об этом есть в архиве мемориала “Яд ВаШем” в Иерусалиме.

Две недели мне пришлось выстаивать очереди, чтобы подать заявление на возвращение нашей квартиры. Но пани Грейбус оказалась права: квартиру мне вернули. Я прошлась по комнатам. Конечно, когда мы тут жили с мамой, все было иначе. После немцев в ней осталось немного мебели и очень много пустых бутылок. Но мне-то, конечно, и того, что осталось, хватало с избытком: две комнаты, да еще такие большие. Одну из них я сдала полицейскому по фамилии Кршеминский, - с женой и тремя детьми.

Город походил на кладбище. Улицы были пусты. Продуктов у меня не было. Я побежала было к тетям, но в их квартирах жили чужие люди, которые ничего не знали о моих родственниках. И школа наша тоже была закрыта. С тяжелым сердцем я вернулась в Седлице. Там попрощалась с друзьями, а через две недели окончательно перебралась в Лодзь.

Вдова нашего привратника Каяка, известного антисемита, встретила меня весьма дружелюбно, подарила мне шерстяные чулки и несколько платьев. В квартире у нее я обнаружила на стене свой портрет, - где я была в четырехлетнем возрасте, - а на буфете – салфетки, вышитые мамой. Но об этом говорить я не стала. Много наших вещей оставалось в деревне, где мы проводили последнее лето перед войной. Я поехала забрать их, а взамен мне дали маленькую железную печурку. На трамвае я довезла ее до дома, и она мне очень пригодилась и для готовки, и для отопления.



Город был пустым и голодным. В поисках заказов я пошла по окрестным деревням, но людям было не этого. Тогда я попросила чего-нибудь поесть. Еды мне дали, однако, пристыдили за то, что попрошайниаю. А разве стала бы я просить, если бы нашла работу?

Ни с чем вернулась я домой, а войдя в комнату, обнаружила на своей постели тело моего квартиросъемщика. Оказывается, он после комендантского часа ходил к какой-то немке, и его на улице застрелил патруль. Вдова с тремя детьми так и остались у меня в квартире. Я старалась помочь им, чем могла, но у меня и самой-то почти ничего не было, хотя вдова была уверена, что я просто жадничая.

Я встретила нашу бывшую домоправительницу, пани Лазарову. Она жила теперь у пани Гундлаховой – моей бывшей учительницы, немки по национальности. И отец ее, и муж были лютеранскими пасторами, а зять – капитаном вермахта. Все они были противниками нацизма, побывали в концлагерях.

Во время оккупации немецкие солдаты за ноги хватали тех детей, кто переходил улицу не по правилам, и били головой об стену. Пани Гундлахова в классе заявила во всеуслышание, что ей стыдно принадлежать к этому народу. Всю оккупацию она прожила в Польше.

Пани Лазарова 20 лет страдала депрессиями. Она прониклась ко мне симпатией и стала рассказывать о своем любимом священнике, иезуите Томаше Ростворовском, с энтузиазмом описывала мне его улыбку, нос с горбинкой, его глаза...

Во время Пасхи я пошла в церковь на исповедь. И священник, к которому я попала, оказался тем самым Томашем Ростворовским. Я рассказала ему, что недавно окрестилась и хочу пойти в монастырь. Он спросил, какой веры я была прежде: протестантка? православная? Мне легче было бы признаться в сотне грехов, чем в том, что я еврейка. Но выбора не было. "Хорошо, – сказал он, – приходи через две недели".

И я пришла. Встреча была очень радостной. Ростворовский поверил в искренность моего обращения. Он оказался очень добрым и мудрым, и с тех пор стал моим исповедником. Бог сам всегда посылал мне все, в чем я нуждалась.

Я побывала у бенедиктинок в Збучине, они звали меня к себе, но я мечтала о Кармеле. В ответ я услышала, что туда просто так не берут, что нужно "особое призвание", и это очень меня огорчало.

При первой же возможности я навестила отца Сулея; он порадовался, что обращение мое оказалось неподдельным, а я, со своей стороны, была уверена, что уже сам факт, что я решилась окреститься, есть акт величайшего смирения, покрывающий множество грехов.

И отец Хойецкий, и Томаш Ростворовский настаивали на том, чтобы я отдавала неимущим людям не более 5% своих доходов. Но и это было иной раз нелегко.

Однажды весной я возвращалась домой из Подлесья в теплушке советского поезда. В моем купе сидела молодая девушка, ее трясло от холода. Чтобы согреть ее, я дала ей свой единственный шарф – подарок друзей из Седлице. В Лодзи я проводила ее в пункт Красного Креста. Она возвращалась с Украины, - где провела всю войну, - под Познань, к матери. Я жила недалеко, поэтому решила пока пойти домой, поесть, приготовить уроки, а затем вернуться и проводить ее на поезд до Познани. По дороге домой я никак не могла отделаться от мысли, что шарфа другого у меня нет, да и взять неоткуда; она же едет домой к матери, у которой наверняка найдется все, что нужно.

Когда я пришла в Красный Крест, я увидела, что она уже "оттаяла" – помылась, поела... словом, почувствовала себя лучше. И я попросила ее вернуть мне шарф, сказала, что другого у меня нет. Она, конечно, отдала, но по глазам было видно, что ей очень не хотелось с ним расставаться.

Не помню, может это случилось в тот же самый день или на следующий, но когда в школе после уроков я стала надевать пальто, то шарфа в рукаве не оказалось, - его украли. И я была благодарна неизвестному вору за науку: зря я не послушала голоса совести, зря не поступила так, как учила меня мама и все, кого я любила и почитала.

И дом мой и сердце были всегда для всех открыты.

Я уже упоминала, что в одной из комнат моей квартиры жила вдова с тремя детьми, но и в моей комнате кроме меня жили еще две подружки. К началу учебного года их стало три. Третью прислал мне отец Хойецкий, которого мы обе очень любили. Звали ее Тереза Листек; она потом вышла замуж за Вацлава Горчицу.

Тереза стала моей самой близкой подругой, той самой сестрой, о которой я всю жизнь мечтала. У меня в комнате было всего три кровати, пришлось нам вдвоем спать вместе, на одной. С того времени семья Терезы меня "удочерила". Помню, она привозила мне из дома мясо, якобы "несвежее", - иначе я бы ни за что не согласилась его есть. Я ведь знала, что они очень бедны.

Я приехала в гости к отцу Сулею. Монастырь его был недалеко от Варшавы - в Белянах: там я могла молиться в церкви совершенно одна. Где бы еще я смогла чувствовать себя такой счастливой... Разве что, если бы меня приняли в Кармель... Однако отец Сулей посоветовал мне лучше съездить в Ляски к францисканкам, которые содержали приют для слепых детей. Я тут же написала письмо и свою автобиографию, не упомянув там, правда, о том, что я еврейка – мне было стыдно писать об этом. Но отец Сулей, прочитав написанное, велел переписать все заново и обязательно указать мое еврейское происхождение.

С тем я и приехала в Ляски. Монастырь представлял собой несколько домиков посреди соснового бора. Из дерева была выстроена и маленькая церквушка, где руками слепых была выпилена вся утварь. Именно здесь обрели духовное прозрение многие евреи. Меня привела в восторг красота этого монастыря, его простота, глубокая духовность слепых ребятишек. Как прекрасна была их молитва, какое счастье и мир излучали их лица!

Приняла меня сестра Вацлава, похожая на средневековую монахиню: худая, высокая, с глубокими синими глазами. Она выслушала меня, взяла мое прошение и пообещала, что ответ придет через три месяца. Я очень верила в силу детской молитвы и попросила дочерей моей бывшей хозяйки, Ханю и Марыльку, молиться за то, чтобы меня приняли в этот монастырь. Но это не помогло. К моему великому огорчению, пришел отказ.

Отец Сулей отдыхал в монастыре Серых Урсулинок в Млоцине, под Варшавой. Я пришла туда посоветоваться с ним, в какой монастырь мне теперь проситься.



“А в тот, что здесь не хочешь попробовать?” – спросил он меня. Я сказала, что пойду, куда возьмут. Я слышала, как он рассказывал сестрам о моем крещении, о моей любви к природе и к Богу.

Настоятельница поговорила со мной, постаралась разъяснить мне основы духовности своего ордена. Сказала, что сестры пожертвований не принимают, – сами зарабатывают себе на жизнь. И все же Кармель оставался моей первой любовью – я готова была жить на милостыню. Думала я и о “мирских” сестрах в Беляхах: они не носили монашеских одежд, жили “в миру” и были очень чуткими и гостеприимными. Всякий раз, когда я ночевала у них, они давали мне с собой на дорогу чудесные бутерброды.

В канун Пятидесятницы я приняла таинство Миропомазания. Я ожидала, что оно преобразит меня подобно тому, как в день Пятидесятницы преобразились Духом апостолы. Теперь мне дарованы были силы выйти на проповедь, свидетельствовать перед людьми о своей вере.

Целый год я говорила отцу Томашу, что готовлюсь вступить в орден урсулинок, а сама продолжала вздыхать о Лясах. Там, я знала, была сестра-еврейка, врач – Катарина Штейнберг. Отец ее, верующий иудей, до конца жизни так и не узнал, что его дочь приняла христианство и монашество – навещая его раз в месяц, она всегда передевалась в мирское.

Во время оккупации она спасла множество еврейских детей, перепрыгивая их из дома в дом. Характер у нее был очень непосредственный, и она всегда сразу замечала, если кому-нибудь плохо. Однажды она вдруг спросила на улице у незнакомого прохожего, отчего он такой несчастный. Он ответил, что ему негде жить. Катарина обернулась и спросила другого незнакомца, что оказался у нее за спиной, не найдется ли у него свободной комнаты. Нашлась. Таких чудес она творила много.

Были в Лясах еще четыре сестры-еврейки.

А пока суд да дело, я выучилась у сестер св. Винцента де Поль машинному вязанию. В Лодзи их ателье находилось в районе бывшего гетто, по-соседству жило множество беженцев. Сначала я думала, что евреев среди них нет, но очень скоро поняла, что ошиблась: все они оказались евреями. Я и представить себе не могла, что так много польских евреев осталось в живых!

Как раз в то время я прочла в катехизисе, что все некрещенные непременно попадут в ад. Я ужасно переживала за евреев, считая себя ответственной за их спасение. Но как спасти их – придумать не могла.

Однажды отец Томаш спросил меня: "Что это ты к урсулинкам собралась? Надоело вязать – учительницей стать хочется?" Это подозрение так обидело меня, что я разрыдалась. За это мне досталось еще – называли истеричкой... и может быть, не так уж и несправедливо: дело в том, что в то время я систематически не высыпалась. Отец Томаш велел мне ложиться не позже девяти, чтобы как следует выспаться и успевать в церковь на шестичасовую мессу. Строгое духовное руководство было мне в то время необходимо: иначе сама я недоедала, недосыпала и с трудом вставала по утрам.

Если раньше Причастие было для меня источником радости, то теперь исповедь стала источником знаний. Обедала я на академической кухне, где набиралась сил с каждой новой порцией супа; в девять честно ложилась спать, а в шесть, с трудом вставая, бежала в церковь, боясь опоздать и остаться без Причастия - часов у меня не было. Так что, иной раз я прибегала задолго до службы, бродила вокруг церкви и вспоминала "Песнь Песней": "На улицах я искала Его..."

Я всегда была рада, когда на шестичасовой службе мне доводилось встретить Томаша, но обычно служил и исповедовал отец Пршибыльский. Вообще я и утром, и вечером много времени проводила в церкви, в раздумьях и молитве, и после каждой прослушанной проповеди мысленно

брала на себя новые обязательства. Приехав в Подлесье, я поведала отцу Хойецкому, что наполнена добрыми намерениями. В ответ он посоветовал: "А вознамерься-ка ты разок обойтись без новых намерений". И я почувствовала себя освобожденной.

Однажды ко мне пришли двое евреев и стали уговаривать меня вернуться в иудаизм. Наверное, их прислал кто-то из соседей. Я была так уверена в себе, что предложила им: "Давайте поговорим. Если вы меня сумеете переубедить – вернусь". Они пригласили меня в кино, но я не пошла.

После их ухода пришла Марыся Козанецкая, моя одноклассница и подруга. Она почувствовала, что я чем-то расстроена, и согласилась остаться у меня ночевать. Мы, как обычно, лежали на одной кровати, и разговаривали. Марыся была глубоко верующей, она все мечтала обратиться в христианство нашу одноклассницу-еврейку Халину Чайковскую. Во время войны Марысю спасла и окрестила тетка, Халина же была и оставалась неверующей. Ей легко давались самые трудные предметы в школе, но однажды она пожаловалась мне, что к ней все обращаются только за помощью в учебе, - никому и в голову не приходит пригласить ее в кино или на прогулку. Я пыталась помочь ей, но безуспешно. Марыся, еще не зная, что я еврейка, сказала мне однажды, что по ее мнению, крещеные евреи приносят Польше только вред. Я ответила, что в таком случае самый большой вред Польше должен был нанести Иисус. Оказалось, она в жизни не задумывалась, что Он – еврей.

Готовясь к уходу в монастырь, я старалась как можно больше помогать окружающим. Однажды Халина заболела. Я пришла к ней, чтобы помочь, чем могла, а заодно рассказать, какое счастье я обрела, встретив Иисуса. "Ты не видела, что творилось в гетто", – сказала она. "Это я как раз видела, – возразила я, – а вот ты знаешь, что значит прятаться и скитаться без

кровы?" Я рассказала ей обо всех моих приключениях, мы даже подружились, но о вере никогда больше не говорили.

В школе я готовила бутерброды и сладости для больных и бедных учеников, помогала организовывать вечеринки и праздники, на которых много танцевала с родителями моих одноклассниц и с нашим репетитором паном Якубовским – атеистом и членом левой партии ППР. Он учил нас литературе, и я с ним часто спорила.

Он готовил нас к экзаменам, указывая, какие именно отрывки надо знать из положенных по программе книг. Всю книгу, по его мнению, читать было необязательно. Когда я рассказала об этом пани Лазаровой, она воскликнула: "Ох, что же будет с Польшей!"

Последний раз я танцевала с Якубовским за 100 дней до выпуска, и он сделал мне комплимент: "В нашей школе Вы научились прекрасно танцевать". "Вот именно", – ответила я. – "Это все, чему я тут научилась". Мне нравилось изображать "анфан террибль" ( фр."ужасного ребенка" - прим. перевод.).

Поскольку наша школа было государственной, на церемонию вручения аттестатов зрелости ждали мэра города. Украшая зал, мои одноклассники повесили польский герб, на котором орла изобразили в короне – как символ независимого польского государства. Левые же обычно изображали орла без нее. Взглянув на герб, Якубовский, считавший меня виноватой во всем, что бы ни случилось в классе, - тут же спросил: "А почему орел в короне?", - на что я машинально ответила совершенно по-еврейски, - "А почему нет?" Якубовский вышел из себя!

И вот мы один за другим поднимаемся на сцену и получаем аттестаты. Кто-то из ребят сказал в задумчивости: "Это сколько ж пришлось потрудиться ради такого вот клочка бумаги..." Мэр, сидевший в президиуме, услышал эти слова и возразил: "Но знаете ли вы, что значит жить без такого " клочка", не цените, что имеете. А я вот знаю – у меня его нет".



Эта сцена напомнила мне анекдот:

После прихода к власти коммунистов, в одном купе едут офицер и профессор, а между ними уселся на полу бездомный пес. Сидит и заглядывает в книгу, что читает профессор. Увидел это офицер и говорит: "Читай, песик, читай – профессором станешь". А профессор в ответ: "Что ты, песик, не надо, ничему не учись, ничего не читай – офицером станешь". (Анекдот этот известен в России с царских времен – прим. перевод.)

Как и многие другие выпускники польских школ, мы, получив аттестат зрелости, отправились паломниками в Ясню Гуру – поблагодарить Ченстоховскую Матерь Божию, - ее зовут еще Черной Мадонной. Перед иконой пела группа девушек, я подошла и причастилась с ними. Здесь билось духовное сердце Польши, и здесь все мы чувствовали себя сильнее, сплоченнее в нашей любви к Родине.

Из Ясной Гуры я послала открытки трем священникам, которых постоянно поминала в своих молитвах. А вернувшись, сказала отцу Томашу, что приняла окончательное решение – поступать буду только в Кармель.

В конце концов, он согласился и послал меня в Радогощ. Там у церкви иезуитов какая-то женщина собирала пожертвования на восстановление кармелитской часовни святой Терезы. С бьющимся сердцем я подошла к ней и спросила адрес монастыря. Встретилась с сестрой Магдаленой, которая мне очень понравилась. Она объяснила мне, что главная задача ордена – молить Господа, чтобы Он выслал деятелей на жатву Свою. Именно в этом я и видела свое призвание. Но, согласно церковным правилам, новообращенные не могут принимать монашество ранее, чем через три года после крещения. Правда, отец Томаш обещал выхлопотать для меня в Риме, - куда он как раз собирался, - особое разрешение "досрочно" поступить в монастырь; тем не менее, ответа из Кармеля я не получила.

# Аттестат зрелости об окончании средней школы



## SWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

*Wysocka Wanda*

urodzona dnia *30 listopada* 19*25* r. w. *Wielkie*  
powiatu \_\_\_\_\_ województwa \_\_\_\_\_

po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym zdała egzamin dojrza-  
łości według programu wybitu *podstawowego* przed Pań-  
stwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Kuratora Okręgu Szkolnego

*Łódź* dnia *23 IV 46* Nr *E-1533/46*  
w *Miejskim* Liceum *o ustroju semestralnym*  
w *Łodzi*

Świadectwo niniejsze uprawnia do studiów w szkołach wyższych w myśl  
art. 52 ustawy z dnia 14 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P.  
Nr 38, poz. 389) oraz rozporządzeń, wydanych w związku z wykonaniem tego  
artykułu ustawy.

*Łódź*, dnia *26 czerwca* 19*46* r.

Nr *29*

Trzyletnia szkoła 5 edycja ogólnokształcąca  
o ustroju semestralnym

Członkowie  
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

PRZEWODNICZĄCY  
PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ



Зато получила рекомендацию обратиться к пани Дмоховской. Она была  
главной наставницей "Третьего ордена", то есть мирянок, стремящихся  
жить духовностью Кармеля. На первую встречу с ними я пошла с Терезой

Листек – той самой, что жила у меня с начала октября. Она не была особо верующей, но мне была как сестра.

После первой встречи пани Дмоховская спросила меня о моих впечатлениях. Я призналась, что они – не самые лучшие. Мне показалась неестественной, наигранной, манера сестер молиться по 10 минут с распростертыми руками, как Моисей на горе. Тогда я еще не понимала, что они просто сочетали молитву с физической аскезой. И все же я стала ходить к ним. Тереза, правда, со мной уже не ходила.

На одной из таких встреч молились за сестру Магдалену, которая очень хотела поступить в монастырь, но должна была заботиться о престарелых родителях. Пани Дмоховская рассказала притчу об одном исцеленном, бесноватом из Гаризина, кому Иисус не позволил следовать за Собою, сказав: “Иди к своему народу и свидетельствуй об исцелении”. Но я ничего не знала о проблемах сестры Магдалены и приняла все это на свой счет. Я была потрясена, сбита с толку... как же жить дальше?

А может, я и впрямь ищу в монастыре всего лишь покой и самооправдание вдали от евреев – моего народа? И я как будто бы услышала голос Иисуса: “Вернись к ним”. Так зачем же я вступаю в Кармель? Ради Него или ради себя? Может быть, воля Его в том, чтобы мне идти и свидетельствовать о Его любви к Своему народу, а вовсе не в том, чтобы ради спасения этого самого народа поступать в Кармель? Отказаться от своей мечты мне было столь же тяжело, как Аврааму – принести в жертву единственного сына.

Ведь в таком случае, мне придется проповедовать тем, кто “имеет уши, но не слышит”, кто станет презирать меня и оскорблять, побьет меня камнями... Но если такова воля Божия... Может быть, если я сумею подойти к ним с такой же любовью, как я теперь отношусь к окружающим меня людям, они все же смогут поверить, что Иисус любит их...

Я рассказала о своей "борьбе с ангелом" отцу Томашу и пани Дмоховской. Оба они посоветовали мне прислушиваться к своему внутреннему голосу. Я не знала, на что решиться, но была спокойна: я доверилась предводительству Бога. Ведь главное – это вовсе не монастырь, главное – исполнить Его волю. А тут я узнала еще от пани Дмоховской, что идут разговоры о создании нового ордена, специально для проповеди среди евреев. Один такой, правда, уже был - орден Богоматери Сионской, но сестер там было немного, и действовали они недостаточно энергично.

Еще год прошел в поисках и сомнениях. Нелегко в 20 лет примириться с мыслью, что тебе предстоит стать основательницей нового ордена, но я уже приобрела первую последовательницу – Басю Зелазо, - она в то время изучала философию у Лешека Куца. Я ее и раньше встречала в церкви и была очень рада ее поддержке.

Бася рассказала мне, что много молится за евреев. Отец ее был поляк-социалист, а мать – еврейка, которая окрестилась, чтобы выйти за него замуж. Когда после венчания они возвращались из церкви, соседи стали бросать в молодую камни. Пришлось просить защиты у полиции. Бася и ее четыре сестры, как и многие другие дети от смешанных браков, - были в школе лучшими ученицами.

У пани Дмоховской я научилась понимать и любить святого Иосифа Обручника; она же сумела объяснить мне, что такое Святой Дух. От нее же я однажды услышала, что в монастыре в Вадовице есть монах-еврей по имени Даниэль. Во время войны он под чужим именем служил в полиции и сумел спасти 310 евреев. Я поехала в Вадовице – мне очень хотелось познакомиться с этим евреем, обратившимся в христианство. Я все еще думала, что, кроме меня, евреев в Польше почти не осталось. Ради этой поездки я даже в первый раз надела новые туфли, купленные на блошином рынке. Они ужасно жали.



К сожалению, Даниэль оказался в отъезде, в Кракове. Отец Рудольф, его наставник, встретил меня очень дружелюбно и даже помог справиться с жавшими туфлями. И я почувствовала себя увереннее: не одна я молюсь и страдаю за евреев.

Я продолжала учиться. Слушала на занятиях рассказы отца-иезуита о святом Бернарде, о его горячем стремлении освободить Святую Землю от неверных. Откуда же было мне знать то, что сегодня в Израиле знает каждый школьник: в процессе этого "освобождения" крестоносцы, только в одном Иерусалиме, вырезали несколько десятков тысяч евреев.

Однажды Тереза Дмоховская спросила, говорю ли я на идиш. Я сказала, что нет. Она объяснила, что в сиротском приюте в Закопане жил еврейский мальчик Анджей, который прекрасно там себя чувствовал и согласился окреститься. Но как раз накануне Первого Причастия его оттуда похитили и увезли в Краков, в еврейский приют. И теперь меня решили откомандировать туда, чтобы любым способом, даже обманом, вернуть его в Закопане. Отец Томаш дал мне благословение, немного денег и наказал действовать очень осторожно. Я приехала в Краков, пошла в Казимеж – старый еврейский квартал, где на улице Эстер была школа, в которой, по нашим сведениям, учился Анджей. В школе я представилась его родственницей и стала расспрашивать о нем ребяташек. Один мальчик постарше, лет десяти, сказал, что какая-то другая родственница уже приезжала за ним на такси неделю назад и забрала его. Дело было осенью 1947 года.

Нас окружили дети. Многие – с одутловатыми, странно искаженными лицами. Здесь впервые я столкнулась с детьми – жертвами фашизма.

Я поняла, что Анджей, вероятно, уже в Закопане и решила съездить туда – удостовериться. Приехала я ночью, в гостиницу идти не хотелось, чтобы не предъявлять лишний раз документы, а редкие прохожие понятия не имели, где находится приют. Переночевала я в доме одного железнодорожника и его тетушки. Спала спокойно, может, потому что на стене у них висел портрет святой Терезы Малой. На следующее утро я отыскала приют, поговорила с директрисой пани Оленкой. Она рассказала, что за три недели у евреев Анджей похудел на 11 кг, что ему не давали там молиться и убеждали, что Христос был евреем, - на что он отвечал: "Да, но евреи же Его и распяли!" Вернувшись в Закопане, он всем задавал вопрос,

почему он, такой маленький, должен столько страдать. Он с радостью принял Причастие и заявил, что когда вырастет – станет священником.

Но пока пани Оленке приходилось его прятать. И я отправилась в Варшаву, чтобы поговорить с руководством еврейской общины и официально уладить дело.

Варшавский поезд уходил вечером. Весь день я читала предложенную пани Оленкой книгу профессора Хиршвельда "История одной жизни". Он был из варшавского гетто. Там погибла его дочь. Самому ему удалось бежать с помощью польских друзей. Заканчивается книга притчей: стоит перед престолом Божиим чаша, полная слез евреев. Она все полнее и полнее, и когда переполнится – Бог помилует Свой народ.

Я подумала, что слез уже и сейчас достаточно. Бог милостив, новые жертвы Ему не нужны. По словам Апостола Павла, мы все уже обрели спасение Кровью Его, и каждый из нас призван участвовать в завершении дела спасения. А если бы я была в силах добавить еще и свою кровь к страданиям Иисуса, то с радостью бы сделала это, - чтобы склонить чашу весов в пользу евреев.

В еврейской общине Варшавы об Анджее уже знали. Я не стала говорить о том, что я христианка, сказав только, что мой отец был знаком с отцом мальчика, - и попросила отдать мне его на воспитание. Мне сказали, что у него должна иметься какая-то тетка в Лодзи, у которой он некоторое время назад жил, но адреса не дали. Сказали, что, если он даже и вправду окрещен, - все равно его родственники искать его не будут, так как, видимо, потеряли всякий интерес к его судьбе.

А я, тем временем, начала искать отца. Вся мамина родня была уничтожена немцами, но память об этих людях жила в моей душе. Я надеялась, что когда-нибудь смогу написать о маме, чтобы и другие смогли узнать и полюбить ее.

Когда я, наконец, вернулась, пани Дмоховская уже беспокоилась, куда я пропала.

Я объяснила ей, что по просьбе пани Скварчинской разыскивала в Варшаве ее подругу, которая всю войну со своим семилетним сынишкой провела в Казахстане. За долгие ночи она многое мне рассказала. А ее соседка, пани Ватт, все расспрашивала меня о Боге. Пока ее муж был в тюрьме, она много за него молилась, а после войны он вернулся с длинной бородой и крестом на шее. А вот мать ее погибла – выдали поляки. Об этом, правда, Оля Ваттова в своих мемуарах не писала. В то время они с мужем собирались окреститься и искали священника – интеллигентного и не антисемита. Сначала мне неловко было говорить в присутствии их 14-летнего сына, но все же, когда я рассказала, какое счастье принесла мне вера, мне показалось, что они поняли. Рассказывала я и об университете. Меня удивляло там то, что большинство студентов занято политикой, спортом, религией, но только не учебой.

Две недели спустя я узнала от пани Дмоховской, что, наслушавшись моих рассказов, 14-летний Анджей Ватт пошел к Причастию – никого не спросив. Меня это не удивило – я сразу почувствовала в нем огромную жажду Бога.

Ирма Виндиш, с которой я вместе училась, рассказала мне, что ее и еще девяти других девочек из ее родни прятали монахини, сестры-назаретянки. Однажды ее пришла навестить мама и забеспокоилась, как бы дочка чего лишнего не рассказала этим монашкам. Ирма ответила: "Чем больше они будут знать о нас, тем лучше. Поймут, что без их помощи нам не выжить".

Отцу ее во время войны удалось пробраться в Румынию, а оттуда – в Южную Африку. Вскоре после войны он забрал к себе всю семью.

Была у нас еще одноклассница, Иренка Ландкопф. На Ирму она смотрела, как на само совершенство. Она и сама была способной, но



ленивой и в Бога не верила. Она прошла через четыре концлагеря, потому что немцы перевозили ее маму, хорошего стоматолога, из лагеря в лагерь; у нее же лечились и сами. Так что побывали они в Равенсбрюке, Дахау, Маутхаузене и еще не помню где. Отец Иренки, врач и социалист, умер еще до войны.

Она все никак не могла забыть о лагерном голоде. Вспоминала, как однажды притворилась больной, чтобы не выходить из барака и первой получить свою порцию жидкой каши. Получить-то получила, только есть она ее не могла – в каше плавала тряпка. Чтобы не сломаться и выжить в этом аду, она начала сочинять песни. Так люди старались поддержать друг друга.

Еще одна из моих соучениц была родом из маленькой деревушки, где все были ревностными католиками. Они много помогали евреям, но не потому, что любили их, а затем лишь, что считали милосердие долгом каждого христианина. Однажды, когда я была у нее в гостях, я упомянула в разговоре, что Иисус, Мария и апостолы – все они - были евреями. Девушка была потрясена. Она никогда в жизни над этим не задумывалась...

В доме пани Дмоховской все было иначе. Здесь сердца и умы были распахнуты навстречу добру. Пани Дмоховской радовалась, если сын ее Ян просил добавить в суп больше воды - значит, сегодня он пригласил на обед приятеля из бедной семьи.

Когда Ян вырос, он женился на еврейской девушке Оленьке. Не знаю, как удалось выжить в лагерях ее родителям, Станиславу и Еве, которая вскоре заболела и через три месяца умерла. Станислав полюбил сестру Яна, Маржену, и они поженились, но детей у них не было. А через несколько лет умерла и Маржена, и Станислав Зилевич овдовел вторично.

Однажды, когда я уже жила в Ченстохове, он приехал навестить меня и сожалел о том, что не уехал в Израиль сразу после войны. Внешне он

совсем не походил на еврея, и на работе коллеги без стеснения высказывали при нем свои антисемитские взгляды.

Я уже почти смирилась с тем, что нет на то воли Божией, чтобы я вступила в Кармель. Но тут узнала, что лодзинские кармелитки приняли Басю и пообещали ей, что через год возьмут и меня. Целый год – этот срок показался мне бесконечным. Пани Дмоховская написала мне рекомендацию в другой монастырь – в Калише, но получила отказ. Месяц спустя она привезла меня в еще один монастырь, в Закопане. Мне очень понравился там грациозный, как лебедь, образ Мадонны в маленькой деревянной часовенке. Я объяснила сестре Иоанне мое намерение: молиться о благодати для евреев. Она сказала, что ответ нужно подождать, и на это время придется несколько попридержать мою любовь к ближнему, а то, что же будет, если все так начнут... "Тогда мне столько любить не понадобится" – ответила я.

Три следующих дня я провела в расположенном неподалеку католическом летнем лагере нашего университета, а потом пошла в монастырь за ответом – снова отказ. Конечно, это было не очень приятно, но я не отчаивалась, - значит, такова воля Божия.

Был в этом лагере один студент, коммунист, которого, почему-то, все избегали и прозвали его кротом. Но я, однажды, согласилась отправиться с ним на прогулку. Подъемник поднял нас на Свиницу, и мы легко добрались до вершины, но здесь решили не останавливаться. Мне и самой хотелось побывать в горах до того, как я стану затворницей в Кармеле, однако я заметила, что мой спутник уводит меня, незаметно за разговором, все выше, к горному озеру Морское Око. Я подумала, что это слишком далеко для меня, повернула назад одна и пошла, не обращая внимания на указатели. Я не заметила, как оказалась совсем в другом месте, - на крутом обрыве метров 50 высотой, а внизу – пропасть. Пришлось карабкаться

вверх между двумя скалами, цепляясь за выступы. Кровь застывала в жилах, но выбора не было.

Вцепившись пальцами рук в одну скалу, а пальцами ног упираясь в другую, я медленно двигалась вверх. Одно неверное движение – и я могла бы сорваться в пропасть. Уже пройдя полпути, я вдруг обнаружила, что я тут не одна. На вершине оказалась целая группа ребят из Непокаланова (христианский центр, основанный Максимилианом Кольбе – прим. перевод.). Они всячески сверху подбадривали меня, хвалили за смелость, а я думала: ну что за глупцы! был бы у них разум – поняли бы, что мне сейчас веревка нужнее комплиментов! К счастью, мне удалось добраться до вершины, а дальше я пошла за ними – теперь уже внимательно следуя указателям. Вернувшись в лагерь, я рассказала о своем приключении, после чего было решено: девушек в одиночку больше в горы не пускать.

По рекомендации пани Дмоховской, сестра епископа Томчака устроила меня на работу в контору одной благотворительной организации. С утра я сначала приходила туда навести порядок в документации, а потом спускалась в кладовую помогать работавшему там священнику, пожилому и не очень старательному. Я часто опаздывала на первую лекцию, потому что всегда в последнюю минуту прибегал вдруг кто-нибудь взять что-то из кладовой. Но преподавательница, пани Лазарова, понимала и прощала меня.

Моей мечтой, по-прежнему, оставался Кармель. Пусть мне не так повезло, как Басе – ну что ж, придется подождать... Пани Дмоховская, между тем, не просто ждала. Не говоря мне ни слова, она разослала письма почти по всем Кармелям Польши, - кроме одного, - но отовсюду получала стандартный ответ: "Мы весьма сожалеем, но за отсутствием условий..."

Единственный Кармель, куда она и писать-то не стала, - был в Познани – городе, известном своим антисемитизмом. Уж там-то мне, конечно,

рассчитывать было не на что. Но случилось так, что именно в Познани проживала некая старушка-ясновидящая по имени Медарда, которая написала пани Дмоховской, что "Бог открыл ей мою судьбу", и что "этой голубке не суждено гнездо". И почему-то после этого пани Дмоховская подумала, что гнездо свое я обрету именно в Познани.

Отец Иосиф, являвшийся ответственным за все Кармели Польши, написал обо мне, - с наилучшими рекомендациями, - познаньской настоятельнице. В это время там было 10 сестер в новициате, и меня были готовы принять. Я съездила в Познань, поговорила с настоятельницей, сестрой Иоанной, и с наставницей новициата, сестрой Кармелой. Они были согласны. И вот, 10 января 1948 года, монастырские двери закрылись за мной.

До этого, первого января, мы с пани Дмоховской ездили в Познань и три дня провели вместе у Янины Томашевской. Прошлись в последний раз по городу, заходя в магазины, а потом пошли в гости к Медарде. Она оказалась на редкость уродливой старухой, но приняла нас очень приветливо и спросила, не хочу ли я что-либо узнать о ком-нибудь. Я спросила о своем отце – от него по-прежнему не было никаких вестей. Она закрыла глаза и в наступившей тишине произнесла только: "Шалом, шалом, мир"...

То, что имя моего отца – Шулим, Соломон – означает "мир", я знала и прежде; поэтому новых сведений о нем у меня не прибавилось, хотя я и испытала странное облегчение. Прощаясь, Медарда пригласила пани Дмоховскую заходить к ней, если случится быть в Познани.

На обратном пути я с отвращением спрашивала себя: почему же Дух Святой говорит устами столь непривлекательных личностей, таких как эта Медарда. И точно ли это Дух Святой говорит в ней? На этот раз пани Дмоховская поддержала мои сомнения.



Утром 10 января 1948 года, после мессы и завтрака, я стояла у дверей монастыря. На прощанье мы с пани Дмоховской расцеловались. Дверь открылась, и сестра Кармела проводила меня в мою келью.

Там были кровать, книжный шкаф, три картины и большое распятие на стене. Я надела черную одежду послушницы, а затем вышла к пани Дмоховской, в комнату для гостей. Она плакала от радости. Мы были с ней душевно очень близки, даже ближе, чем с мамой, – мама ведь не учила меня вере. Всю жизнь Бог посылал мне таких добрых и умных людей - не знаю, как и благодарить Его!

Послушницы новициата оказались молодыми и очень симпатичными. Мы провели вместе два часа: они радовались, смеялись, и я смеялась вместе с ними и старалась их рассмешить. Однако, в то же время я понимала, как важно было для меня не остаться в стороне, найти среди них свое место, завоевать их доверие. И особо деликатничать здесь не приходилось: стиль обращения был принят прямой и даже грубоватый.

Перед войной для этого монастыря было построено большое красивое здание на улице Неголевских, но пришли немцы и забрали его под склад, а потом и коммунисты не спешили возвращать его сестрам. Предложили взамен старый пустой дом с грязными стенами, представлявший собой весьма печальное зрелище. Часовня, правда, была чистая, красивая, - вокруг нее был даже разбит небольшой садик с цветущими фиалками. Я вызвалась успеть до Пасхи покрасить стены этого дома.

Сестра Кармела порекомендовала мне прочитать книги основателей ордена “босоногих” кармелитов, но мне хотелось прежде узнать историю моего народа. Ведь “Ветхий” Завет – завет вечный.

Я смеялась, наполненная гордостью и радостью, когда читала, как Авраам спорил с Богом о Содоме: “Если и 10 праведников найдутся среди

грешников...” Впервые в жизни я чувствовала, что Авраам близок мне, что я и вправду из его рода. Однако, в то же время, и Тереза Авильская, основательница ордена “босоногих” кармелиток, стала мне любимой матерью.

Для предпасхальных чтений брали по нашему молитвеннику из пророка Иеремии: описание разрушения Иерусалима, младенцы, умирающие от голода у материнской груди... И вновь я мысленно возвращалась на улицы варшавского гетто, вновь звучали у меня в ушах стоны матерей, чьи дети умирали от голода... “Что сделал Я тебе, народ мой?”

Два раза в день я выходила погулять с собакой, объясняя, что животному необходимо двигаться. На самом деле это было куда более необходимо мне самой. Но с приходом весны мы начали ежедневно по часу работать в саду. А когда появились первые зеленые листики, кровь у меня в жилах побежала веселее. Сажая овощи и цветы, я всякий раз ощущала прилив радости, погружая руки во влажную землю.

А спустя 6 месяцев, 22 августа 1948 года, в день рождения моего отца и ровно через 6 лет после того, как погнали на гибель евреев из Лосице и окрестных местечек – я облачилась в монашеское одеяние и приняла новое имя: сестра Эммануэла святого Иосифа. Поздравить меня приехали пани Дмоховская со своей младшей дочерью Моникой и пани Листек – мать моей подруги Терезы Листек-Горчицы. Лишь много лет спустя Тереза призналась мне, что обиделась на мой уход в монастырь, а потому и на праздник мой ехать не хотела. Но ничто не могло омрачить моего счастья.

Время летело быстро – вот уже и наступил рождественский пост. Я читала пророка Исайю, и его слова лучше всего выражали то, что я чувствовала в тот момент. С тех пор я всегда читаю Исайю во время рождественского поста. Всем существом жаждать Бога, с нетерпением ожидать Его прихода. Здесь я обретала свой Иерусалим.

Все 4 недели поста сестра Кармела мастерила ясли, подробно расспросив каждую из нас, как она представляет себе Вифлеемский грот. Я думала, что она делает эти игрушки на продажу или для подарков друзьям. Какова же была наша радость, когда во время рождественского ужина каждая сестра обнаружила у своей тарелки свой собственный маленький Вифлеем. Вся неделя Рождества прошла весело: с песнями, письмами, подарками.

24 августа я принесла свои первые обеты – на три года. Я уже чувствовала себя в монастыре как дома. Подружка моя, сестра Ядвига, кандидат философских наук и бывшая преподавательница истории, уговаривала меня сделать моим монашеским именем то, которым называли меня мои родители – это бы очень их порадовало.

“Может, это и вправду бы их порадовало, но сама я чувствую себя сестрой Эммануэлой – таковой и останусь”, – отвечала я.

Однако, все же, я решила привести в порядок свои документы. Написала пани Дмоховской, и она за 200 злотых выправила мне дубликат настоящего свидетельства о рождении. Оставалось только заказать паспорт. В монастырь пригласили фотографа, он сфотографировал меня, а заодно уж и всех остальных сестер.

Мы просто умирали со смеху, глядя, как пожилые сестры рассматривали свои фотографии и поверить не могли, что это они. Ведь в Кармеле запрещены зеркала, так что некоторые монахини могли и 50 лет не видеть своего лица. А сестра Катарина у нас, например, ни разу в жизни не ездила на поезде. Но, все равно, она была очень хорошая и добрая. Мне очень нравилось помогать ей и другим сестрам на кухне.

Сестра Бернадетта до ухода в монастырь 4 года изучала медицину и работала медсестрой. Однажды, заглянув на кухню, она увидела на столе огромного петуха с отрезанной головой и философски заметила: “Какая, однако, здоровая скотина из крохотного цыпленочка вырастает...”

Посмеяться мы все любили. В нашем небольшом уютном доме обитала радость Божия.

Одна из сестер заболела туберкулезом. Ей ампутировали ногу, и врач объявил, что она уже не заразная. Поэтому, я без опасения ухаживала за ней, пока сама не заболела. Попала в изолятор и зажила там отшельницей. Сестра Бернадетта была уверена, что я была просто предрасположена к туберкулезу – им ведь болела и моя мама. Однажды, она пришла навестить меня и сообщила, что отец Томаш - в тюрьме, где ему, конечно же, приходится труднее, чем мне. "Господь, в неизреченной благодати Своей, дал тебе всего лишь болезнь", – сказала она.

Конечно же, она была права. Всякий раз Господь посылал мне испытание именно в тот момент, когда я в нем нуждалась. Все испытания Он посылает нам из любви, мне нужно просто больше молиться. И я молилась и плакала от счастья.

А с отцом Томашем приключилась следующая история. Некий студент-археолог переутомился во время экзаменов, впал в депрессию и решил покончить жизнь самоубийством. Один из его друзей, узнав об этом, встревожился, забрал у него револьвер и отнес на хранение отцу Томашу. Каким-то образом это стало известно властям; а поскольку коммунисты всеми средствами стремились ослабить влияние Церкви, то у отца Томаша той же ночью устроили обыск, и он на 7 лет угодил во Вронки – самую страшную тюрьму в Польше. Там уже пребывало в заточении много священников, как, впрочем, и в других тюрьмах по всей стране. Конечно, я могла считать - на таком фоне - что мне просто повезло.

Сестры полагали, что после болезни мне следовало обновить мои временные обеты, однако отец Ансельм - за ним было окончательное решение - не согласился с ними. И я принесла вечные обеты 22 августа 1952 года. 28 июня того же года был рукоположен Даниэль, а 26 августа он впервые служил мессу у нас в Кармеле. После завтрака мне разрешили с



ним побеседовать. Он был очень худой, не мог даже есть – от счастья. Временами крестная забирала его к себе домой и старалась подкормить, но, видно, этого было недостаточно. Он горячо говорил мне о своем стремлении служить Христу, дабы изгладить зло, причиненное Ему нашим народом. И для этого он хотел поехать на жительство в Израиль. Брат его уже уладил все необходимые формальности.

В Зивече, своем родном городе, где он должен был служить свою первую мессу, Даниэль всю дорогу до церкви, - до самого алтаря, - повторял про себя историю жертвоприношения Авраама. Услышав это, я сказала, что, может быть, и он должен возложить своего Исаака на алтарь...

“О чем это ты?” – спросил он.

Я знала, каких слов ждет от него отец Ансельм, и ответила: “Мы должны уметь жертвовать своими мечтами”.

Об этом мы проговорили еще два часа. Отец Ансельм хотел, чтобы Даниэль стал учителем истории и математики, но тот не соглашался с ним. Он знал, чего хочет, обладал железной волей, и, в конце концов, Ансельм сдался.

Потом сестры говорили мне, что после этой встречи я просто парила над землей от счастья. Я с улыбкой, - но совершенно всерьез, - объясняла: “Так я же на Втором Иерусалимском соборе побывала. Помните – первый-то был 2000 лет назад”.

Я была счастлива. Вместе с сестрой Хеленой я молилась за Даниэля на иврите. Мы подружились с ней в первый же день нашего знакомства. Она заботилась обо мне, помогала писать письма Даниэлю и читать его ответы. Поначалу его послали служить в Шопенице, в Силезию, где были очень красивые места, множество верующих, однако не было ни одной церкви. Даниэлю отвели сарай, и он соорудил там часовню. Однажды явился товарищ из райкома, растолкал всех прихожан - в том числе женщин и

детей - разломал алтарь и приказал "прекратить это безобразие". Так что, в Польше Даниэля уже ничто не удерживало - можно было ехать в Израиль.

А я, тем временем, выздоравливала, выходила на прогулки в сад; уже можно было понемножку начинать работать, читать и, к моей величайшей радости, просто предстать пред Богом. Я старалась услышать Его голос, откликнуться на Его призыв. Даниэль засыпал меня письмами. Он уже окончательно собрался в Израиль, но я полагала, что смогу и отсюда молиться за него.

После церемонии принятия вечных обетов, нарушивших мое одиночество, я вдруг ощутила какое-то внутреннее беспокойство. На исповеди я рассказала о нем священнику о.Вознице, усердному молитвеннику и человеку высокой духовности. Он все понял и ответил: "Не стоит так беспокоиться из-за обетов. Они – лишь внешняя форма. А что до внутреннего содержания, то это – ваше окончательное обращение". Так оно и было на самом деле.

Избавившись от вынужденного одиночества, я начала молиться вместе с сестрой Хеленой. Мне нравилось молиться с ней вместе: она любила евреев. Брат ее женился на еврейке, и она помнила, как во время войны ее соседи помогали бездомным еврейским детям. Мы с ней делили печали и радости.

Пришли первые письма от Даниэля из Израиля. Похоже, ему приходилось там вести чисто созерцательную жизнь. Ему даже не хотели давать статус "оле хадаш" – еврея, вернувшегося на историческую родину из диаспоры; он обратился в Высший Суд Справедливости, но трое из пяти судей сказали "нет". Правда, гражданство израильское он, в конце концов, получил, хотя сам всегда утверждал, что не надо путать израильское гражданство с принадлежностью к еврейскому народу. Теперь, кто бы ни приходил к нам в гости, разговоры только и шли, что о Даниэле.

Согласно уставу Кармеля, в монастыре должны были быть не более 21 сестры - нас же было уже 22. Необходимо было подыскивать новое помещение. И мы отправились в Весолу поглядеть, каким, по идее, должен быть "нормальный" Кармель.

Это был старый просторный монастырь, с большим садом. Одна из сестер ухаживала за скотиной ( я часто забегала к ней полюбоваться на ее подопечных). Мы-то все были молодые, сильные, всегда охотно работали. В Весоле же монахини были постарше и некоторые - больные - работать вообще не могли; так что самые трудные дела тут же легли на наши плечи. Но нам это только нравилось – от работы мы становились здоровее и веселее. Даже уставать не успевали, потому что больше двух часов подряд в Кармеле не работают: всякое занятие прерывается либо молитвой– от 10 минут до часу - либо едой или отдыхом. Всего же рабочего времени набегает часов 8 в день, но распределяется оно таким образом, что работа скорее удовольствие, чем нагрузка.

Однажды, во время отдыха, меня попросили рассказать о себе. Как в Познани, так и в Весоле были монахини из знатных шляхетских родов - Ростворовских, Чарнецких и прочих, не помню уж каких. Я сказала, что и я тоже "высокого рода"– а то как же: на пятом этаже родилась. Все заинтересовались и слушали очень внимательно.

Рассказывали о себе и другие. Например, сестра Микаэла, которая сочиняла стихи и стала потом моей подругой,- рассказала, что во время войны ее дядя был в тюрьме, и ее решили не крестить до его возвращения. А когда он вернулся, ей было уже 4 года; стали ее готовить к Крещению, объяснили: "Как спросит тебя батюшка, хочешь ли окреститься, ты уж отвечай "да" – иначе еврейкой останешься". И вот, уже в церкви, когда священник спросил ее, согласна ли она принять Крещение, она закричала: "Нет, нет, я еврейкой быть хочу!"

Все слушали ее и смеялись. Кроме меня. Мне хотелось плакать от того, что 25 лет спустя она уже не так любит евреев, как в день своего Крещения.

На праздники мы часто приглашали служить отца Даниэля. Всем нравились его необычные проповеди. Приход у отцов-кармелитов был большой, церковь вмещала до 5000 человек, и в те дни, когда служил Даниэль - там яблоку негде было упасть. Популярность его в Польше была очень велика. В те времена в Польше не часто можно было услышать что-либо интересное на проповеди, поэтому не удивительно, что Даниэль привлекал так много внимания. А я все думала: как странно, монахини-еврейки слушают проповедь священника-еврея...

Отец Иосиф, глава польских кармелитов, который доверял Даниэлю, любил его (он и предложил ему взять это имя в монашестве), поручил ему подыскать в Ченстохове (городе Черной Мадонны), дом с садом, где бы мы – семь сестер из Познани – могли основать новый монастырь. На поиски ушло два года, но однажды, приехав к нам, Даниэль, в конце концов, провозгласил: "Воистину Эдемский сад, и даже источник Илии протекает там".

Наконец все бумаги были подписаны, и дом стал нашим. Шла вторая неделя после Пасхи, все цвело и зеленело, и нам не терпелось увидеть свой Эдем. Приехали, и ... расхохотались.

Описания Даниэля, мягко говоря, совсем не соответствовали тому, что нас ожидало в действительности. Это был двухэтажный дом с запущенным садом, где росли несколько яблонь, рядом – полуразвалившийся сарай. Крышу над нашими комнатами заменял временный навес. Ни водопровода, ни канализации – только электричество. Но мы все были молоды, с горячей душой, и трудности нас только раззадоривали.

Под лестницей было небольшое помещение, которое мы приспособили под кладовую и прачечную. Рядом с ним жила некая пани Ракова –



женщина высокая, полная, неопрятная и вороватая. А внизу, в подвале, - пани Калиновская с матерью Ханкой.

Сын пани Раковой был инженером. Взяла она как-то раз его новые ботинки, пришла к студентам в училище и стала предлагать им купить их. Но примерить давала только правый башмак. А левый, который она якобы оставила дома, обещала потом принести. Продав правый ботинок и получив деньги, она тут же отправилась на другой конец города, чтобы там проделать ту же операцию с левым, однако здесь ей не повезло: второй покупатель также оказался студентом и был знаком с первым, - так и раскрылся этот обман.

Случайно мы услышали, как пани Ракова жаловалась Ханке: "Вот ведь беда-то! Никого не надуешь! Все уже знают и меня, и мои фокусы..." Ханка, в шутку, предложила ей сесте на поезд и поехать туда, где ее никогда не видели - авось там что-нибудь да сработает.

Бабушку Ханку мы все любили и всегда делились с ней, если случалось разжиться пирожком или шоколадкой. Но однажды она сказала мне: "Пока вас тут не было, и нам в саду посидеть дозволялось, а теперь туда кроме монахинь никому ходу нет".

Я расстроилась до слез, - мы жили в страшной тесноте. На каждую монахиню приходилось по 20 см жизненного пространства вокруг ее кровати. Об умывальниках и мечтать не приходилось: по утрам ставили на кровать таз с водой, умывались, убрали таз под кровать и бежали на службу. В католических монастырях Святые Дары разрешают хранить только в часовнях (прим. перевод.), - перед ними и молятся. Но у нас не было даже маленькой часовенки, поэтому и молиться ходили в церковь св. Винченца Палотти. Я старалась хранить Христа в своем сердце и все время думала о Нем. Я радовалась, что живу в бедности, но горько было сознавать, что наши соседи стали из-за нас еще беднее - ведь мы отобрали у них сад. Я чувствовала себя виноватой: я хотела разделить

бедность Господа, которому негде было и голову преклонить, а вышло все иначе...

На Рождество сестра Кармела, наша настоятельница, как обычно, мастерила ясли для друзей, и весь дом был завален дощечками и бумагой. В самый канун праздника она сказала мне: "Через час Иисус войдет к нам в дом. Приготовь Ему место". Я почувствовала себя святым Иосифом, прибирающим Вифлеемскую пещеру. Замела быстренько мусор в угол, вычистила нашу скромную обитель – и вот мы уже готовы принять у себя Иисуса и все Святое Семейство.

Гости приходили с пирогами, отец Эдмунд Баневич принес даже инжир. Но мы совсем забыли, что в праздник магазины закрыты, поэтому и хлеба не успели купить; отец Эдмунд выручил нас, принес хлеб из своего монастыря.

С большим волнением и благодарностью мы слушали первую мессу в нашей часовне, устроенной в единственно свободной комнате. Теперь нам уже не надо бегать в церковь – священник будет каждое утро служить у нас.

Ежегодно, в субботу накануне Пятидесятницы я обновляла свои крещальные обеты. В тот год священник сказал в своей проповеди, что Дух Святой – это как мать и дитя: не кто-то один из них, а то, что возникает между ними, та любовь, которая связывает их. Эта мысль мне очень понравилась.

В другой раз он сказал, что мир делится на два лагеря: тех, кто верит в Бога, и тех, кто не верит в Него. Я возразила: есть множество людей, которые ищут Бога. Он согласился, но добавил, что грех верующих – неумение понять, что вера – дар, и нежелание трудиться над совершенствованием того, что им дано.

Через некоторое время к нам в гости пришли отцы-иезуиты. Попросили помолиться за успех их проповеди в деревнях и рассказали несколько смешных историй. Одна из них была о том, как отец Александр, помогавший старикам и больным, не знал, где достать денег для одного из

своих подопечных. Вдруг он машинально сунул руку в карман брюк и обнаружил там 500 злотых. В полном восторге он тут же отдал деньги больному старику, а вечером рассказал о чуде местному священнику, у которого жил. "Хорошенькое чудо", – ответил тот, – "Это ж Вы по ошибке мои брюки надели!"

А от епископа мы однажды услышали такой анекдот: В раю до грехопадения был, в самом деле, самый настоящий коммунизм. Ну, сами посудите: ходят все голые, есть нечего (яблок – и тех не дают), - воровать приходится.

Но в жизни нашей были не одни только шутки.

В церкви св. Винцента Палотти служил священник Адам Вишневецкий, по мирской специальности - детский врач. Он добился разрешения поехать в Париж для продолжения образования, специализировался там по тропической медицине, а потом уехал в Индию. 5 лет руководил там больницей в Бангалоре.

В Индии в то время случилась страшная засуха, - люди сотнями умирали от голода. А поскольку древесина в тех краях дорогая, - отвозили трупы на кладбище в гробу, а в могилу спускали лишь в саване, так что один и тот же гроб использовался много раз.

В больнице у доктора Вишневецкого был один прокаженный по имени брат Августин. Слепой, без рук и без ног, - он был душой больницы: всех узнавал по походке, для каждого находил доброе слово или совет. Когда он умер, его решили похоронить в единственном больничном гробу. Эта история научила меня понимать, что духовное важнее материального.

После варшавского гетто зрелище голодной смерти всегда стояло у меня перед глазами. Я поговорила с сестрами, и мы решили: пошлем в Индию все, без чего мы можем обойтись. Из Бангалора приходили письма с просьбой о молитвах и помощи.

Мы с сестрой Розой, - одной из лучших моих подруг, с которой мы и вправду были словно одно душа и тело, стали просить послать нас в Индию, чтобы основать там Кармель. Мы вернулись в Познань, и там к нам присоединилась еще сестра Эльжбета, мечтавшая поселиться поблизости от лепрозория в Дживодайе, чтобы там молиться и помогать нуждающимся.

С радостью встретила я с сестрами. Настоятельницей монастыря в Познани теперь стала сестра Хелена – одна из моих прежних подруг. Однако вскоре она попросила меня обращаться к ней не так, как раньше, а – с подобающим почтением. Трудно было привыкнуть к тому, что наши отношения изменились; в глубине души я все равно была уверена (и сказала ей об этом), что Бог творит настоятельниц по тому же проекту, что и всех прочих смертных.

Из Познани мы продолжали посылать в Индию посылки. Ведь Тереза Авильская говорила: "Нам – бедность, Богу – богатство", - а церковь наша была битком набита красивыми, дорогими вещами. Я написала Папе Римскому, прося его объяснить сестрам, что Богу роскошь не нужна, но ответа не получила. Каждую свободную минуту я собирала продукты, лекарства и одежду для бедных, - так что в общинной жизни помощи от меня было не много.

Католику Ежи Завейскому удалось провести в коммунистическом Сейме закон, по которому благотворительные посылки не облагались налогом. Поэтому, мы оплачивали только перевозку, что давало возможность посылать посылки часто и много помогать Индии.

В 1968 году ко мне в гости приехала из Торуни пани Калиновская – еврейка, вместе с двумя своими сестрами обратившаяся в христианство. Она сказала, что помогать бедным для нее великая радость, – может быть, у Бога на небе даже не найдется для нее лучшей награды. Из двух своих костюмов она один отправила в Индию. Кроме того, она ходила по домам, продавала картинки, а выручку отправляла индийским детям.



Отец Теофил, работавший в то время в кармелитской миссии в Бурунди, рассказывал мне, как пришла к нему однажды старушка и принесла три злотых – на помощь бедным. Он брать не хотел, говорил, что эти деньги ей самой пригодятся, а она ответила: “А я три раза на автобусе не поехала, пешком пошла – вот и сэкономила”.

А пани Калиновская рассказала нам случай. У них в местечке под Вильно (теперь это Литва) жило несколько еврейских семей. Однажды одна из девушек заявила, что хочет окреститься, и отец отрезал ей за это нос. Но Мария - это была сестра пани Калиновской - не испугалась и отправилась к священнику с просьбой окрестить ее.

Священник сначала не поверил в искренность ее намерения. Он принял ее в свой дом, заставлял много работать и, два года спустя, убедился, что это серьезно. А позднее сам устроил ей свадьбу.

В браке Мария была счастлива, заимела много детей, но во время войны, когда дети ее были уже взрослыми и завели свои семьи, муж умер, и она осталась одна. Однажды к ней вломились бандиты и забрали все, что было в доме, издевались над ней, - даже кожу содрали с головы, вытаскивая ее из-под кровати, где она пыталась спрятаться. А Мария только молилась: “Господи, сделай так, чтобы я была последней их жертвой!” Всю жизнь она изо всех сил старалась сознательно не совершать даже малейшего греха.

Когда в 1967 году она приехала ко мне в Ченстохов, ей уже было за 80. Мы немного поговорили, а потом она пошла в церковь, пообещав к обеду вернуться, но на обратном пути заблудилась и долго плутала, прежде чем нашла дорогу.

“Уж как меня искал Иисус-то”, – рассказывала она, - “так устал, а не бросил! Да я и сама устала. И все же отыскиали мы с Ним дорогу. Радость-то какая! С Ним нигде не пропадешь!”.

Последние годы жизни она провела в семье сына. Тот был разведен, женился вторично, и новая невестка Марии не нравилась. Но она помнила мудрую пословицу: молчание сдвинет горы.

Однажды в праздник Непорочного Зачатия Девы Марии женщина вышла после службы из церкви и ... упала в снег. Какой-то прохожий помог ей подняться и довел до церкви, где она и умерла в окружении пяти священников: святою смертью увенчала свою святую жизнь.

Тем временем кармелиты избрали нового главу ордена. Какова же была наша с Эльжбетой радость, когда мы узнали, что прежде он руководил Кармелем в Индии: мы сочли это предзнаменованием нашего скорого отъезда. Но наши надежды оказались напрасными. Он ответил отказом, написав, что монахинь в Индии достаточно. Я чуть с ума не сошла от огорчения, что меня не берут в "ашрам". Пришлось подстричь волосы, - которые я уже было начала отращивать, - чтобы походить на тамошних женщин.

Вскоре после этого мой исповедник, преподаватель теологии Нового Завета доктор Эдвард Шиманек, вернулся в Польшу после паломничества в Рим и в Святую Землю. Он два часа подряд убеждал меня, что мое место - на земле моих предков. Я рассказала об этом сестре Хелене, и та сразу же согласилась мне помочь. Она обратилась к отцу Отто, который стоял тогда во главе всех Кармелей Польши, (как раз в то время срок его пребывания на этом посту подходил к концу), и тот дал мне разрешение отправиться в Израиль, чтобы основать там Кармель с молитвами на иврите. Я пообещала, что мы будем там жить в затворе.

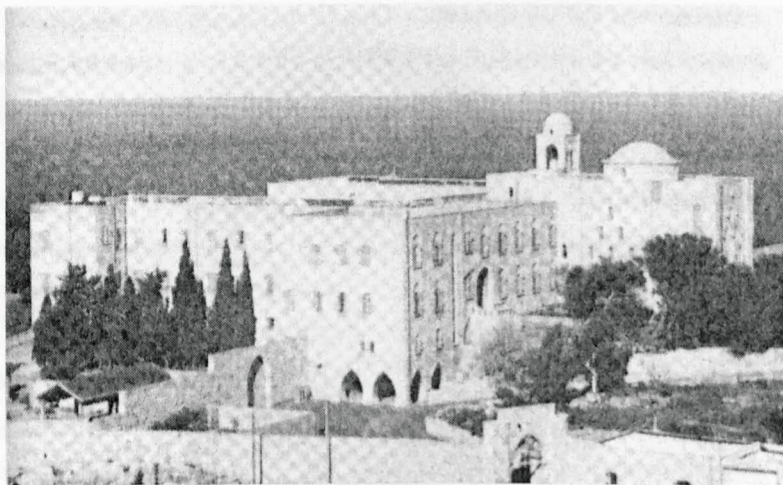
В Познани в тот момент гостила сестра Рафаэла из польского монастыря в Иерусалиме. Возвращаясь назад, она захватила с собой письмо Патриарху иерусалимской Греко-Католической Церкви с моим прошением. Монастырь кармелиток в Вифлееме согласился принять меня.



*Перед началом алии в Израиль (1969)*

В 1968 году, после новой волны антисемитизма, евреи получили право свободно покинуть Польшу. Я отказалась от польского гражданства и через 2 недели получила визу на выезд. Подписала нужные бумаги и, возвращаясь обратно, проплакала всю дорогу. Последние два дня я провела у пани Дмоховской, а ночевала у Терезы Горчицы. Попрощалась с Вандой. Последнее, что она мне сказала, было: "Я в Бога не верю, но верю в свет – и он придет".

Израильского посольства в 1969 году в Польше не было, и его интересы представляло посольство Голландии. Получив у чиновника визу, я спросила его, как было бы лучше мне одеться, и он ответил: "Лучше – в мирскую одежду. Зачем привлекать внимание?"



*Этот дом слишком велик для меня...*

*(Монастырь кармелиток в Хайфе)*

Когда я вышла из посольства, ко мне, опасливо озираясь, подошел человек лет шестидесяти. “У Вас добрые глаза”, – начал он. - “Я Вам должен что-то сказать... Я тридцать лет коммунистом был... теперь с этим покончено. Хочу поехать в Израиль, женюсь на тамошней вдове – любой вдове из любого киббуца...” Видно было, что он в отчаянии. Я ему посочувствовала: в таком возрасте трудно начинать новую жизнь, принимать новую идеологию...

В Ченстохове в полночь я постучалась к Гене Файге. Ее семья решила в Израиль не ехать, потому что все они тогда были очень хорошо устроены. Одно время ее муж подумывал перейти в католичество - из-за того, что в войну какой-то еврей выдал его немцам - но жена была против переезда, и он оставил эту идею. Мы с ней были, как сестры. Когда я уезжала, она же и провожала меня до вокзала.





*Перед тем как покинуть Польшу (1969)*

Поезд пересек чехословацкую границу, и в купе вошел таможенник. Со мной вместе ехала пожилая пара, направлявшаяся в Аргентину, молодой парнишка по имени Войтек и девушка Кася.

Началась проверка документов и багажа. У меня с собой была зимняя теплая одежда, большие деревянные четки и деревянное распятие. Таможенник запустил в чемодан руку, пошарил там, но ничего интересного не обнаружил. В своем поясе я спрятала доллары, но пограничник даже не взглянул на меня.

Миновали австрийскую границу, и тогда-то у всех в купе, как по команде, развязались языки. Бояться было уже нечего, и мы расшумелись, как дети. "А у меня четки есть", – сказал Войтек. "И у меня", – подхватила Кася.

Все начали рассказывать свои невеселые истории. И все оказались – хотя бы наполовину – евреями.

Отец Даниэль встречал меня в аэропорту вместе с Элишевой Хемкер – немкой, которая с 1962 года стала его постоянной сотрудницей и помощницей. Всю дорогу до Хайфы, я смотрела в окно и удивлялась: какая же спокойная и нормальная жизнь вокруг. Раньше мне казалось, что в Израиле всегда должно было бы существовать чрезвычайное положение, а тут на нашу машину – ночью на шоссе – никто и внимания не обращал. Пока я рассказывала Даниэлю обо всех своих приключениях, смертельно уставшая Элишева прозевала поворот на Хайфу. В конце концов, мы доставили Даниэля в его монастырь Стелла Марис, а меня Элишева забрала к себе.

На рассвете я вышла на балкон и увидела окруженный деревьями золотой храм Бахайского Сада. Это было такое прекрасное зрелище, что я невольно опустилась на колени, – со словами благодарности Богу за эту красоту, за то, что Он привел меня в эту страну. В это время появилась Элишева и сразу же вернула меня на грешную землю замечанием: “Мы здесь, в Израиле, на колени не встаем”. Потом пришел Даниэль, и моим иллюзиям был нанесен еще один удар: мне следует подать прошение о временном выходе из затвора для изучения языка. Я отказалась: иврит можно учить и в монастыре. Даниэль, разозлившись, ушел, пообещав, однако, после обеда отвезти нас на гору Кармель – на то место, где, по преданию, Илья Пророк перебил когда-то жрецов Ваала. Называлось это место Мухрака.

В том месте стояла церковь, фотографии которой Даниэль присылал нам еще несколько лет назад. Для этой церкви он немало потрудился: привел в порядок византийские иконы и древние украшения, поставил деревянный крест на алтарь из 12 камней – символ 12 колен Израилевых.

То есть, он все старался сделать в стиле пророка. 20 лет я мечтала увидеть Мухраку. И вот она - облицованная керамикой стена, с цитатами из Книги Царств на арабском языке и на иврите. Оказывается, в здешних краях пророка Илию почитают не только иудеи, но также и христиане, и мусульмане, и друзья. Даниэль молился на иврите за Романа Брандштеттера – польского писателя, написавшего 4 книги о жизни Иисуса. Сам он был христианином, а его отец, журналист - иудеем.

После моей первой молитвы на этом месте Даниэль возложил руки мне на голову – это было начало. Я поняла, что мне предстоит стать жертвенным агнцем во искупление моего народа.

На следующий день сестра Мари-Льесс повезла меня в Назарет. Встречавшимся нам евреям она говорила “шалом”, а арабам – “салам”. Я спросила, как она их различает. Оказалось, что она просто всех тут знала. В ее жилище - в подвале церкви - я ощутила глубокий покой. Отсюда не хотелось уходить.

На обратном пути в Хайфу, в автобусе я увидела ребенка - здорового, симпатичного, совершенно не запуганного – и расплакалась: слишком хорошо я помнила детей гетто. С волнением смотрела, как свободно держатся окружающие. Но радостнее всего мне было видеть израильских солдат - я, не переставая, махала им рукой.

Потом сестра Генриетта повезла меня на Геннисаретское озеро, в Табху, в Капернаум - в те места, где звучала Нагорная Проповедь. С волнением я смотрела на склон холма, откуда раздавалось слово Иисуса. Мне казалось, что озеро полно Любви: на эту воду смотрели Его глаза...

Два дня спустя Элишева снабдила меня в дорогу бутербродами и посадила в поезд, идущий в Иерусалим, за что я была ей очень благодарна. По дороге мы проезжали леса и маленькую пенистую речку Сорек.

Иерусалим, “убивающий пророков и святых”, показался мне очень красивым. Заночевав в монастыре Богоматери Сионской, основанном

братьями Ратисбонн, я наутро пошла к иезуиту отцу Земковскому, – директору Папского Библийского Института. Среди прочего, он рассказал мне, что до того, как израильтяне заняли Восточный Иерусалим, местные бедуины были чрезвычайно бедны. За кусок хлеба они готовы были рассказать историю всех достопримечательностей с кучей легенд впридачу.

Он сказал, что ознакомиться с Иерусалимом может мне помочь отец Норберт из монастыря святого Иосифа, но тот, в свою очередь, переадресовал меня к Бруно Хуссару. Это был монах-доминиканец – венгерский еврей с французским паспортом, приехавший в Израиль из Египта. Именно он основал Общину святого Иакова в Яффо и Дом Исаяи в Иерусалиме, которые, впрочем, выглядели намного скромнее, чем богатый Библийский Институт. Еще он написал книгу “Когда поднималось облако” – о своей мечте создать поселение, где бы вместе, бок о бок, жили евреи, христиане и мусульмане. И мечта его осуществилась: ему удалось основать поселок Неве Шалом (Оазис Мира), недалеко от Латруна.

Я рассказала ему, что хотела бы основать Кармель с молитвой на иврите, чтобы в нем жили и монахини, гражданки Израиля. Он сказал, что это могло бы быть хорошо только при условии, чтобы там были не только еврейки. И объяснил: евреи – это вроде соли: без нее невкусно, а из нее одной – несъедобно.

Потом отец Норберт познакомил меня с монахинями из конгрегации Малых Сестер Иисуса, которые дали мне почитать “Историю еврейской мысли” Андре Шураки. Автор книги не находит никаких существенных оснований считать веру в Иисуса несовместимой с иудаизмом. Иудаизм для него всегда был источником плюрализма, а расхождения, например, между фарисеями и саддукеями, были куда более значительными, чем между позицией тех же фарисеев и учением Иисуса: тех и других объединяет вера в воскресение мертвых. Отделение христианства от иудаизма связано с определенными историческими обстоятельствами, в



частности, с различием стоящих перед ними задач: иудеи – хранители Святой Земли, а христиане призваны нести веру в Единого Бога всем народам. С другой стороны, Шураки отмечает, что еврейское сознание не может представить себе Бога в образе человека, то есть родившегося и умирающего.

Все: и Бруно, и Малые Сестры, и Земковский, и сестра Бернадетта, – были людьми явно незаурядными. И я сказала отцу Норберту: “Вместо святых мест Вы показали мне святых людей”.

Съездила я и в Кумран, подышала воздухом мудрости, посмотрела на уединённые пещеры на склонах гор, где когда-то ессеи предстояли перед Богом. Побывала в Иерихоне, полюбовалась макетом Второго Храма в иерусалимском отеле Холи Лэнд.

Со слезами я впервые подошла к Стене Плача. В одной из песен, написанной братьями Ратисбонн, говорится: “Есть люди с каменным сердцем, есть камни живые, как сердце людское”.

На следующее утро я поехала в Вифлеем. Как же легко и естественно чувствовала я себя рядом с бедной молодой Женщиной, подарившей жизнь Иисусу...

Тепло и по-дружески встретила меня сестра Иоанна, настоятельница местного Кармеля. Я почувствовала, что она понимает и поддерживает мои планы. Она предложила мне еще поездить по Израилю, посмотреть страну, а потом вернуться к ней.

Так я и сделала: поехала, увидела много интересного. В старом Яффо ночевала во французском монастыре, потом провела день в ТельАвиве и, наконец, через две недели вернулась в Вифлеем, где меня ждали.

Красота никогда не оставляла меня равнодушной, сестра же Иоанна была очень красива. Да и вся атмосфера, молитвенный дух вифлеемского Кармеля показались мне глубже и серьезнее, чем в других местах. К тому же, здесь моих слабых знаний французского языка хватало на то, чтобы

как-то объясняться, и я, в случае необходимости, могла обратиться к настоятельнице за помощью.

Однако, Патриарх иерусалимской Греко-Католической Церкви заявил, что не знает, кто я такая, и не дал мне разрешения поступить в подчиненный ему монастырь.

В ожидании разрешения на выход из затвора я жила в Гиват-ха-Море, недалеко от Афулы, в маленькой квартирке, которую мне, как новоприбывшей, предоставило Еврейское Агентство.

Через 6 недель я получила письмо из Рима с разрешением поступить в Кармель в Хайфе.



*Мой двоюродный брат Александр (1946)*

Подавая прошение в этот монастырь, я написала, что все мои родные погибли во время Катастрофы. Я и не думала о том, что могу встретить здесь своих родственников. Однако случилось так, что на обратном пути в Афулу я по ошибке села не в тот автобус и, заметив неладное, обратилась к сидевшей рядом женщине. Услышав мой иврит, та сразу поняла, что я из

новоприбывших, и ответила по-польски. Оказалось, что она родом из Пршитыка и ... знакома с моей тетей, которая, оказывается, живет со своим мужем-врачом в Тель-Авиве.

Сначала я ей не поверила, но потом все-таки попросила Даниэля позвонить в Тель-Авив, а через некоторое время и сама туда отправилась.



*Моя тетя Саля после войны (1945)*

Тете Сале, так звали мою вновь обретенную родственницу, видимо, тоже не верилось, что я и вправду та, за кого себя выдаю, но потом, после того, как я "опознала" множество родственников на фотографиях в ее альбоме, она меня признала. Рассказала мне о судьбе тети Эстер, которую я в последний раз видела в варшавском гетто. Оказывается, немцы обещали хлеб всякому, кто согласится добровольно поехать в Треблинку. В то время в гетто еще можно было купить продукты, но тетя Эстер уже продала все, что можно было продать, и не знала, чем кормить семью. Поэтому она решила отправиться в Треблинку...

Тетя Саля объяснила мне, что, после того как перестала работать почта, она уже больше не могла посылать продукты в Варшаву из своего

гетто в Радоме. Мужа ее, дядю Пинхаса – доктора медицинских наук и директора больницы в лодзинском гетто – не трогали довольно долго, боялись вспышки эпидемии, которая могла захватить и соседние деревни. Но в итоге, вся семья все равно потом оказалась в Освенциме. В августе сорок четвертого, когда русские войска уже заняли половину Польши, дядя Пинхасу удалось прямо на пороге газовой камеры подкупить охранника припрятанным бриллиантом и вместе с семьей вернуться в барак.

Их сын - мой двоюродный брат - оказался в той сотне детей, которых Йозеф Менгеле отобрал для своих ужасающих медицинских экспериментов; но "использовать" эту сотню уже не успели - в Освенцим вошли русские.

Когда тетя, после освобождения из Освенцима, возвращалась поездом домой в Лодзь, какая-то попутчица сказала ей: "И что ж это вас не дорезали".

Семью удалось собрать вместе, а через год все перебрались в Чехословакию. Там дядя Пинхас нашел работу по специальности, а в 1948 году они уехали в Израиль. Жилось им там тогда очень бедно, все продукты – по карточкам: одно яйцо на человека в неделю.

Сын их вырос, женился, тоже стал врачом и отцом троих детей. Но у дяди Пинхаса было слабое сердце... Тетя Саля смогла сообщить мне о смерти мужа только через год.

В свою очередь, я тоже поведала ей свою историю. И сразу почувствовала, как больно задело ее то, что я стала христианкой. Я тогда и не подозревала, насколько этот факт усложнит мою жизнь в Израиле. Моя неверующая тетя тут же посоветовала мне вернуться в иудаизм - не то чтобы ее очень волновала вера как таковая, - речь тут шла совсем о другом...

Однажды я молилась на горе Кармель и вдруг ощутила, что я неотделима от этой земли, что мы принадлежим друг другу. В монастыре



же, при всем его великолепии, я чувствовала себя чужой. Два года я молилась в уединенном уголке монастырского сада, пытаюсь понять: почему там, где царь Давид писал псалмы на иврите, надо петь их по-французски. И еще мне было непонятно: зачем нам нужно это бесконечное множество комнат, приемных и прихожих, которыми мы почти не пользуемся, - зато уйму времени тратим на то, чтобы поддерживать в них чистоту. В то же время, по соседству с нами многие семьи не имели крыши над головой. Монастыри, к которым я привыкла в Польше, были куда как скромнее.

А здешние монахини, особенно старшего поколения, в свою очередь, не могли понять моей привычки танцевать на рождественских праздниках, моего желания изучать иврит... В итоге - через год сестры попросили меня уйти.

Получив из Рима разрешение на выход из затвора, я устроилась ухаживать за одной старушкой, страдавшей после нацистских преследований приступами беспричинного страха. Жила она в Галилее, в городе Тивон. Условия были обещаны неплохие: отдельная комната, питание, неплохая зарплата и работать только во второй половине дня.

Но как-то раз, когда я, перед сном искупав старушку, уложила ее в постель и хотела поцеловать, пожелав "спокойной ночи", она решила, что я собираюсь ее задушить.

Дочь этой бабушки - очень хорошая хозяйка - пыталась научить меня готовить. Однажды, когда она мне что-то подробно растолковывала, ее муж, по профессии преподаватель, не выдержал и сказал: "Неплохо бы еще и конфорку зажечь перед тем, как ставить на плиту". Но готовить мне так и не пришлось: бабушка Эстер боялась, что я ее отравлю...

Иногда мне на помощь приходили соседки. В доме над нами жила замечательная женщина, Това Шкеди. Она всегда прибегала к моей подопечной по первому зову.

После двух недель работы я взяла выходной и поехала в Хайфу. Там Даниэль заметил, что у меня стали дергаться губы. Бабушка Эстер всю ночи дрожала от страха и не давала мне спать. Я уже говорила об этом с ее дочерью, но ничего не помогало. А по утрам досыпать мне было некогда: я училась в ульпане (так в Израиле называется интенсивный курс иврита). В начале иврит давался мне с трудом, но, со временем, я полюбила этот язык и даже нашла в нём определённое сходство с польским. Ведь польский литературный язык складывался под влиянием переводов Библии.

Однажды, в свой выходной я пригласила в Тивон тетю Салю. Раньше я даже не подозревала, как хорошо иметь тетю. При всей кажущейся несхожести с нею, я находила наши общие корни, постигала причастность к чему-то общему... В тот раз она больше рассказывала о своем покойном муже.

В квартале, где я жила, почти все говорили по-польски, включая бакалейщика и мясника. Как-то бакалейщик сказал мне, что у него в Хайфе есть пустая квартира. Элишева разъяснила, что я, как новоприбывшая, имею право на получение денег от Еврейского Агенства на покупку этой квартиры. Оказалось, что в этом квартале – Неве Йосеф – полным-полно пустых квартир, но мало тех, кто хотел бы там поселиться. Выбор был большой, но я, все же, остановилась на квартире бакалейщика: там был лучше вид из окна, хотя и ... при полном отсутствии воды и электричества, а также протекающей крыше. Мне удалось найти молодую пару, согласившуюся полгода бесплатно пожить в моей квартире и за это время привести ее в порядок: что они и исполнили.

В конце концов, у бабушки Эстер меня заменила молодая пара из Аргентины, а я перебралась в Хайфу. Стала ходить в ульпан и занялась обустройством весьма запущенного сада при моем новом жилище. Было там какое-то полумертвое растение, которое при моем заботливом уходе быстро окрепло и оказалось на редкость красивым. Я видела в нем символ

еврейского народа, который был жалок, пока им пренебрегали и держали в темном углу - но как расцвел, обретя свет и простор!

В Хайфе я, прежде всего, попробовала свои силы на поприще социального работника (на Западе – государственный служащий, заботящийся о людях из бедных слоев населения, разъясняющий им их права, защищающий их интересы – прим. перевод.). Поначалу я, правда, сомневалась – справлюсь ли. Надо было помогать семьям, а у меня ведь никогда не было своей семьи. Но Рахель, моя начальница, сказала: “У Януша Корчака тоже никогда не было – а он чудеса творил”. Она имела в виду его знаменитый “Дом Сирот” в Варшаве в годы оккупации.

На работу меня направили в маленький поселок Ор Акива, построенный в пустыне, неподалеку от Кейсарии. Здесь, прямо из песка тянулись к свету цветы и деревья – вода творила чудеса.

Работа мне нравилась, но иногда подводило недостаточное знание иврита. Поэтому я вернулась в Хайфу, - чтобы продолжить учиться в ульпане, а закончив его, нашла себе другое место, где и проработала три года, также социальным работником.

А затем поступила в Хайфский университет – изучать еврейскую философию и историю Ближнего Востока. Я стремилась постичь смысл Катастрофы и лучше понять свой народ, среди которого теперь жила.

Через несколько лет после приезда в Израиль я получила письмо от Терезы, моей бывшей лучшей подруги, которая в послевоенные годы училась в Лодзи. Той самой Терезы, которая жила в моем доме, и с которой мы спали на одной кровати. Тереза писала, что муж ее умер; да и самой ей только и оставалось, что сидеть и ждать смерти. Я пригласила ее в Израиль. 17 лет мы не виделись; сразу же бросилось в глаза, - как она постарела. Все эти годы Тереза, (так же, как и я) продолжала переписываться с отцом Хойецким, к которому мы обе сохранили привязанность и любовь.

Иезекиель Романюк - его жена когда-то возила меня в Варшаву - попросил Терезу посадить вместо него дерево в Алее Праведников мемориала "Яд ваШем" в Иерусалиме. (Деревья в Аллее Праведников "Яд ваШем" - мемориальном музее Катастрофы - сажают в честь тех, кто с риском для жизни помогал евреям, укрывал их; и возле каждого дерева устанавливается именная табличка - прим. перевод.). Тереза исполнила его просьбу. В тот же вечер в Иерусалиме она встретила с польским евреем Юлеком Добржинским, и он начал расспрашивать ее об антисемитизме в Кельце, где в 1946 году был погром. Тереза честно сказала, что ни о каком антисемитизме знать не знает, а в конце спросила: "Уж если вы всех поляков разом в антисемиты записываете, так может - и меня туда же?"

Сама Тереза - в войну совсем еще маленькая девочка - скрывалась в глухой деревне, так как ее отца, как польского интеллигента, преследовали немцы, а сестра была замужем за евреем. Как-то она рассказала мне, что однажды, уже после войны пригласила к себе подружку-немку; но



рассказывать ей о своей родне, побывавшей в концлагерях, она, конечно же, не стала...

Я пыталась объяснить Терезе, что Юлеку просто хотелось убедиться, что антисемитизма в Польше больше нет.

Приезд Терезы внес некоторую упорядоченность в мою жизнь: с 7 до 9 вечера мы вместе работали над моей автобиографией.

Тереза звала меня в гости в Польшу; но я так гордилась Израилем, что предпочитала приглашать поляков к себе. Я послала 200 долларов Касильде, дочери Иеронима Калицкого, который мне очень помог во время войны. К сожалению, я не могла наладить контакт с большинством из тех, кто меня укрывал, даже адресов их не знала. Ехать в Польшу и всех там разыскивать обошлось бы мне очень дорого, тем более, при тогдашних курсах валют. Так что с поездкой я решила повременить.

Но через некоторое время мне пришло письмо от Хелены Грушки-Каймерчак:

“Дорогая Стелла,

Не хочу я давать никаких сведений в “Варшавский институт еврейской истории”. Они выпрашивают меня о евреях, которым я помогала, и просят назвать их имена; а я ведь все это делала просто так, по-человечески: ну как же не помочь тому, кто в нужде? И никакой выгоды в этом я для себя никогда не искала. Отец мой говорил: тот, кто наживается на чужой беде – просто убийца.

Ты же помнишь, как я всегда любила тебя; и маму твою любила и уважала, и в гости к вам в гетто приходила. Ведь твоя мама мне совсем как родная была; я буду помнить ее и тогда, когда придет мой смертный час. Мне уже недолго осталось жить, а в прошлом копаться – только время терять. И тебе советую: оставь прошлое в покое.

Вот съезжу на праздники в Варшаву – есть у меня там кое-какие дела – а заодно и в этот институт забегу, поговорю с ними. А бумаг им никаких писать не хочу. Потом расскажу тебе, чем дело кончится.

Целую...”

Прочитав ее письмо, я поняла, что если буду откладывать поездку до своего 65-летия, чтобы купить билет на самолет со скидкой, то к тому моменту может просто не остаться в живых людей, к которым я собралась. И через месяц после отъезда Терезы я начала собираться в дорогу. А когда меня спрашивали, куда я еду, отвечала просто: “Домой”.

В Польшу я приехала в сентябре 1987 года.

В Варшаве меня с цветами встречала Тереза с друзьями, приехавшими ко мне в Хайфу. Йозеф отвез меня к Терезе домой. Сын его Витек со своей молодой красавицей-женой два года провел в Ливии, наслушавшись там басен про израильских солдат, которые якобы режут глотки и вспарывают животы всем, кто под руку подвернется; он всерьез поверил в эти “еврейские зверства”. Я разозлилась, стала звать его жену в Израиль – посмотреть, как все есть на самом деле. Она сказала, что ей хочется туда поехать, да судьба не дает: видимо, в Ливии она стала фаталисткой.

Вечером мы отправились к Терезиной сестре, Басе. Квартирка у нее была маленькая и тесная, но на балконе росли красивые цветы, а стол был накрыт с большим вкусом. Во всех магазинах в те годы было пусто, но, в какой бы дом не зайти - всюду был пир горой. Вскоре пришел Януш, Басин муж, и в нем за версту можно было увидеть еврея. Он сказал, что ужасно завидовал Терезе, которой удалось съездить в Израиль. Я осталась с ними поужинать, почувствовав в них живой интерес к Израилю, к нашим проблемам.

На следующее утро я пошла в “Организацию борцов за свободу и демократию”, поговорила с доктором Вильчуром. Он попросил меня зайти кто предал и убил мою мать.

Обедать я пошла в соседнюю столовую. Подали суп и, к несказанному моему удивлению, фаршированную рыбу. Порция супа была весьма скромной, но, в целом, еда оказалась недорогой и вкусной.

Потом я пошла в Кармель и попросила разрешения поговорить с настоятельницей: надеялась узнать у нее некоторые детали о восстании в гетто. Ведь именно здесь, в монастыре, располагался в те дни штаб подпольщиков. Я ничего не говорила ей о себе, так что и она, видимо, из осторожности, не стала вдаваться в подробности. И все же, я услышала от нее о Юреке Вильнере, Тадзике и Бруно Хаимовичах – руководителях восстания. Все они погибли в бою. Настоятельница рассказала, что Юрек был атеистом; но когда стало ясно, что приближается конец восстания, пообещал ей вернуться к Богу.



*Встреча с Кассильдой Калицкой, дочерью моих спасителей (1987)*

Повидалась я и с Йопой Анджеевской – дочерью тех самых Яблонских, которые прятали в погребе трех еврейских парней (в их числе был и мой двоюродный брат, Нехемия). По моей просьбе, она написала воспоминания о том времени:



“Я с мамой и братьями поехала на лето в деревню, недалеко от Треблинки, - помогать дедушке. Когда началась война, отца призвали в армию; но через несколько дней вся Польша была уже захвачена фашистами, и он, огорченный, вернулся домой.



*Спустя 50 лет: заутреня в «моей» церкви, где меня окрестили (1994)*

Иногда кому-нибудь из пленных - евреям или русским, которых везли в лагерь смерти, удавалось бежать. В нашем доме их укрывали, и мы часто видели таких людей за нашим обеденным столом. Знали мы - дети - и то, что в хлеву под полом прячутся три еврея: иногда они тоже ужинали с нами.

Мой отец участвовал в движении Сопротивления: он изготавливал для подпольщиков фальшивые документы. Помню, как однажды он сделал удостоверения двум сестрам-еврейкам – Люсе и Лодзи Петрчак. Хотел сделать его и их третьей сестре, Тане, но немцы поймали ее и разбили ей голову о стену. А потом я видела, как по улице за волосы волокли их маму...



Когда к дому приближались немцы, мама прятала в моей постели что-то “запретное” – какие-то маленькие серые свертки. Так я и засыпала среди этих пакетов в обнимку с плюшевым медвежонком.

Однажды к нам в дом пришли немцы, стали спрашивать о чем-то отца и били его, если он не отвечал. Я была больна тифом и лежала в постели, беспомощная, оцепеневшая от ужаса. Отцу разбили очки, надавив на стекла так, что они попали ему в глаза; а маму, бросившуюся защищать отца, избили до полусмерти. Я хорошо помню, как она в беспмятстве лежала на полу в луже крови, а фашисты натравили на нее собак; те и на меня кидались.



*Встреча с детьми моих спасителей (Польша, 1987)*

Немцы стояли, не двигаясь, и, казалось, наслаждались нашим страхом. Прежде чем уйти, один из них выстрелил в меня. Спасли меня те же самые “запретные” свертки: пули скрикошетили, только одна из них попала в ногу. Но раны остались в сердце...

После этого мама так и не поправилась: она умерла через несколько лет оттого, что отказали отбитые почки.



*Встреча с Вандой, моей любимой учительницей (Варшава, 1987)*

Однажды, в самом конце войны, когда я тяжело заболела, мама побежала за врачом. Линия фронта проходила в то время прямо через наш двор, и мы были на немецкой стороне. Вначале врач-немец прийти отказался. Тогда мама в отчаянии перебежала двор под обстрелом, чтобы просить помощи у русских. А через два часа после этого у моей постели оказались сразу два врача – с обеих сторон. Они отнеслись друг к другу вполне уважительно, советовались между собой, а потом разошлись – каждый в свою сторону. Позднее они оба навестили нас. Русский принес мне кусок мяса, а немец – плитку шоколада; за все время войны это был единственный шоколад, который я ела.

Однажды, когда война уже закончилась, к нам постучалась незнакомая женщина. Мама вышла во двор и вынесла ей "запретные" свертки. Та, прежде всего, спросила, все ли на месте, не пропало ли что.

“Вот она, ваша еврейская благодарность”, – с горечью ответила мама. – “Стала бы я в ваши пакеты лазить! Мало вам, что я своей жизнью и жизнью детей своих все эти годы рисковала!”

Трясущимися от волнения руками женщина развернула свертки, размотав несколько слоев тряпок. Затем сняла со своей руки браслет и надела мне на запястье. Уже потом мама объяснила мне, что в тех свертках был талес (им накрываются еврейские мужчины во время молитвы – прим. перевод.) и субботние серебряные подсвечники”.

В канун Рождества 1945 года отец Йолы вышел из дома - купить сигареты, и не вернулся. А через два дня его нашли мертвым. Он был голый, с отрубленными пальцами. Йола сказала тогда, что кто-то из евреев обвинил ее отца в сотрудничестве с нацистами, из-за того, что тот хорошо говорил по-немецки. Так и пришлось матери растить детей одной.

Больше Йола ничего не рассказала о тех временах. Я пригласила ее к себе в Израиль - посадить дерево в Аллее Праведников, но она сказала, что вряд ли сумеет набрать денег на дорогу.

На следующий день мы на машине отправились в Збучин - к бенедиктинкам. Их настоятельницей была сестра моего крестного, Чеслава Гонзалы. Они встретили меня очень тепло, рассказали о Рене - спасенной ими еврейской девочке. Оттуда мы поехали в Хою, к моей крестной, Ирине, и там вместе с ней навестили ее соседа, Анджея Здановского, у которого я когда-то пряталась. В то время ему уже исполнилось 90, но на здоровье он не жаловался; слух вот только подводил, хотя это его и не особо угнетало: он, мол, успел за свою долгую жизнь вдоволь всего наслушаться. Анджей не помнил меня, а я его узнала сразу. Он рассказал мне, что под полом моей комнаты пряталась целая еврейская семья; теперь они живут где-то под Познанью.

После войны эти люди написали ему, но письмо пришло без обратного адреса; а ему-то как раз и хотелось узнать, как сложилась их судьба,



остался ли кто из них в живых. Он говорил, что все люди равны - что поляки, что евреи, и всем кушать надо. Но когда я предложила его сыну съездить в Иерусалим и посадить дерево в Аллее Праведников, тот отказался.

Казик проводил меня к Кжисе – дочери Чеслава Гонзалы. Сам Чеслав, по словам Терезы, умер за три недели до моего приезда.

Я видела в окно, как люди несут в церковь цветы и фрукты – был праздник урожая. Но мы пошли не туда, а в соседний лесок, где служили панихиду по солдатам, погибшим в 20-х годах в войне с Советской Россией. Это было не простое богослужение: была очевидна его антикоммунистическая направленность. В своей проповеди отец Дрозд сказал, что у христиан нет права ненавидеть - они должны научиться прощать своих врагов. И еще он сказал, что я тоже герой войны: в тяжелой борьбе с фашистами я сумела отстоять свою жизнь.

Конечно же, я пошла и на панихиду по моему крестному; по просьбе священника я сказала о нем несколько слов. Я сказала, что Чеслав всегда замечал вокруг себя людей, нуждавшихся в помощи, и всегда находил способ помочь им. Он умел любить даже своих врагов. Церковь была полна народу. Было радостно видеть в первом ряду много ребятишек, прибежавших сюда после первого дня занятий в школе.

Пообедав у Кжиси, мы поехали в Малиновец и разыскали там внука Перховичей: у них я прожила последние полгода оккупации. Дом стоял в лесу, и во время войны туда ночью часто приходили евреи - просили хлеба.

Комната, в которой я жила когда-то, осталась прежней, а вот амбар исчез, и собачья будка была на новом месте. Отец семейства умер вскоре после того, как я их оставила..

На следующий день я навестила Лешека Мроза: когда-то во время войны я работала у его родителей по рекомендации пятерых полицейских. У него меня встретили роскошным обедом. Семья эта была очень



работящей и жила в достатке. И я вспомнила, как тогда, в сорок третьем, на один конец стола ставили миску с картошкой, на другой – с овощами: и все по очереди ели из обеих мисок. Сестра хозяина, Богуся Залевская, рассказала мне, как ее отец спас одного из задержанных в участке евреев; остальные же были наутро расстреляны. Отец ее умер в Рождество в 1943 году - я тогда уже жила в другой семье. После его смерти осталось трое детей: девятилетний Здислав пошел пасти овец; а Богуся, - семи лет, ( и еще один) были слишком малы, чтобы работать. Матери их после распроджи имущества, пришлось батрачить по соседям.

В 9 лет Богуся пошла в школу, а в 15 уже вышла замуж. Вскоре умерла мать, и тогда девочке пришлось взять на себя всю заботу о братьях. Приходилось очень нелегко: работала много, а жила в бедности.

На следующее утро Лешек отвез меня в соседнюю деревню Рудник.

Дома Хелену Грушку-Каймерчак я не застала. Муж ее, человек уже немолодой, вышел нам навстречу, поцеловал мне руку и объяснил, что она стоит где-то в очереди за мясом. Лешек на машине отправился за ней, а я осталась ждать в их маленьком домике, окруженном тоже маленьким, но очень ухоженным садиком. Внук Хелены привел своего приятеля, писавшего научную работу о евреях в Подлясье. Этим двум молодым людям пришлось по душе идея поехать в Израиль, чтобы посадить дерево за своих бабушек и дедушек.

Тут Лешек привез Хелену. Глаза ее остались такими же добрыми, только морщины стали глубже. Мы долго вспоминали прошлое, обнимались и плакали от счастья. Она всегда помогала моей маме, хотя ей и самой жилось трудно. Я сказала, что одной из причин моего приезда было намерение возратить ей сто злотых, которые я ей когда-то осталась должна; но она и говорить об этом не желала.

Я попросила рассказать ее, что она помнит о моей маме; но она только повторяла: "Замечательная женщина! Какой человек!" Потом мы сфотографировались на память, и я села в поезд, идущий в Познань.

В купе один из попутчиков стал жаловаться, что, как ни вкалывай, все равно не удастся свести концы с концами. Вместо прогресса, в экономике развал. Оказалось, что мать его погибла в Освенциме, отец – в другом концлагере. А теперь какой-то чиновник, в молодости состоявший в гитлерюгенде, а ныне – в компартии, старается выжить его из Отдела народного образования: потому что, мол, его методы преподавания не соответствуют коммунистической доктрине.

В Познани сестры из моего первого монастыря встретили меня очень радушно; у них я и заночевала. Каким же красивым и обустроенным стал монастырь! Я призналась им, что в такой богатой обстановке чувствую себя чужой – бедность мне как-то привычнее. Но, все же, они уверяли, что с радостью примут меня, если на старости лет я надумаю к ним вернуться.

До поздней ночи мы проговорили с сестрой Элизабет об идеях Даниэля, который считает, что иудаизм и христианство – это, по сути дела, одно и то же; она не могла с ним согласиться.

В общем, до постели я добралась к трем часам утра. Позднее, я послала Элизабет открытку, где написала: "Разница между нами в том, что для Вас главное – понять Бога, а для меня – быть с Ним. Другой истины я не знаю".

В Лодзи я собиралась навестить пани Яхимскую. Во время войны она прятала у себя еврейского ребенка. А попал он к ней таким образом:

Однажды в рождественский вечер некто Езерский (он помогал бежавшим из гетто евреям и позже погиб в Освенциме) прогуливался по улицам Варшавы и вдруг увидел на пороге церкви плачущую женщину. Спросил, что случилось, и услышал в ответ, что по случаю праздника в доме ее знакомых собирается много гостей, а маленького мальчика – он прятался у них под столом – деть некуда. Она привела его в церковь, а что дальше

делать – не знает. Езерский понял, что эта женщина – мать ребенка, и взял обоих к себе домой. Внешность у мальчика была типично еврейской.

Через три недели, когда волосы у него отрасли достаточно для того, чтобы прикрыть оттопыренные уши, жена Езерского, пани Добруцкая, передела его девочкой, привязала на голову бантик, переименовала из Юрека в Ирку и отвела к своей подруге, пани Яхимской, - та тогда тоже жила в Варшаве.

Однажды к Яхимским пришли с обыском.

“Как же так?” – спрашивали немцы, – “трое детей у вас белокурые, а один – черноволосый?”

“А у меня любовник был брюнет” – отвечала Яхимская.

Больше ее не спрашивали. Так и прожил Юрек у Яхимских до конца войны, а потом Целина, его мать, увезла его в Америку.

Соседи Яхимских пригласили меня к себе, но я не задержалась у них надолго – хотела еще посмотреть на квартиру моих родителей.

## ГЛАВА 17

Клены на нашей улице очень разрослись с тех пор, как я была тут в последний раз, стали мощными и раскидистыми. Принадлежавшая когда-то еврейской семье Эттингтон фабрика была закрыта: здание стояло пустое, с выбитыми стеклами. Зато пекарня Колшинского – первая в городе механизированная пекарня – по-прежнему принадлежала своим хозяевам и по субботам не работала. Когда-то папа брал меня на руки и поднимал к окну, чтобы я могла посмотреть, как движется конвейер.

Я направилась к нашему бывшему дому.

В квартиру как раз входила с кошелкой овощей красивая, среднего роста блондинка, чем-то напомнившая мне маму. Я попросила ее разрешить мне войти и зашла вслед за ней. Я очень волновалась, но она поняла, как важно было мне взглянуть на эти стены, которые, казалось, еще хранили запах маминых духов, на эти подоконники, где она с такой заботой выращивала свои цветы.

Я показала новой хозяйке фотографии, мы тепло побеседовали. Женщина рассказала мне, что пани Кржеминская – первая моя послевоенная квартирантка (я обнаружила тело ее мужа на своей постели, когда, однажды, вернулась из деревни) умерла от лейкемии. Расставаясь, мы обменялись адресами, и моя новая знакомая дала мне две статьи о Катастрофе. Я сфотографировала вход в дом, ворота, внутренний дворик. Во дворе играли дети, они спросили, что я тут делаю. Я им ответила, что жила в этом доме, когда мне было столько же лет, сколько им сейчас.



Из трех оставшихся в моей памяти труб соседней электростанции теперь осталась одна.

Мне хотелось поскорее попасть в Радогощ – навестить в Кармеле сестру Терезу, но на полпути трамвай застрял; пришлось добираться туда двумя автобусами, а потом еще идти пешком.

Сестра Тереза встретила меня с улыбкой. Она хорошо выглядела, несмотря на болезнь спины. Мы вспомнили ту последнюю ночь, которую провели вместе перед моим вступлением в монастырь, рассказали друг другу, как жили все это время. За несколько дней до меня у неё побывал Даниэль. Возвращаясь из поездки по Швейцарии, он встретил Якова Флидербаума, богатого еврея из Лондона, который всеми силами способствовал росту взаимопонимания между евреями и поляками-католиками. Несколько лет спустя Яков на свои средства открыл в Варшавском Университете кафедру истории евреев Польши, с особым акцентом на период Катастрофы.

На обратном пути, на вокзале в Лодзи я встретилась, как мы условились ранее, с Терезой Листек-Горчицей. Нас пригласила обедать ее дочь, Калина, которая всегда была рада нас видеть. После обеда муж Калины, Анджей, предложил поехать в Лосице – повидаться с Иезекиелем Романюком. По дороге мы сделали остановку в Пенках, и зашли к Ваце Радзиковской. Она как раз была в поле – копала там картошку, и была вся в земле. Обнимая меня, Ваца расплакалась, я даже почувствовала биение ее сердца. Когда мы вошли в дом, она рассказала, что у них тогда, кроме меня, пряталась под коровником еще одна семья – братья и сестры. Когда они пришли к ее деду просить убежища, он сказал им: "Не бойтесь, вместе будем жить, а если что – и погибнем вместе". Все вместе выкопали погреб под коровником, и беглецы прожили там два года. Мать Вацы, которая, как я помню, прекрасно стряпала, носила им еду в подойнике.

Уходя, евреи оставили матери Вацы золотые монеты. Но она побоялась держать их у себя, подумала – а нет ли в них какой нечистой силы, – и отнесла священнику; тот заказал из монет золотой крест для статуи Пресвятой Девы. Ваця рассказала, что еще одна еврейская семья пряталась в соседней деревне, Рзазеве, и что дочь их убили ворвавшиеся в село русские солдаты.

Потом мы с Терезой пошли к Иезекиелю Романюку, чья жена когда-то возила меня в варшавское гетто. Иезекиель рассказал, что в тот самый день ликвидации лосицкого гетто он приходил к моему дяде, уговаривал его бежать, обещая укрыть его и его семью, предупреждал, что всех евреев немцы увезут в Трешлинку. Но дядя не поверил ему, сказал, что юденрат собрал золото и сумел добиться того, чтобы евреев отправили в Варшаву. На самом же деле, все они были расстреляны на площади в Седлице.

На следующий день, утренним поездом я одна отправилась в Седлице. Проезжали через Халинов, – где жила Халина Луговская, но сойти с поезда и зайти к ней я не могла, так как Казик, Кжисин муж, уже ждал меня на станции с машиной, чтобы ехать в Кршеск – к Збуцким. В Халинове в мой вагон вошла молодая пара, и я спросила, не знают ли они, случайно, Халину Луговскую. Они были с ней хорошо знакомы и рассказали, что она работает швеей, а отыскать ее можно через медицинский центр. Мне очень хотелось ее повидать.

Збуцкий и его жена, как и его сестра с мужем, уже умерли от старости, но у них еще осталась дочь. Соседи пообещали передать ей, что ее разыскивает Стелла. Мы же направились в Блазье – по той же самой дороге, по которой я когда-то шла к Мрозам, а по пути к ним сделала еще несколько снимков мароцкой усадьбы, которую убирала, когда жила при полицейском участке. В Блазье мне дали адрес дочери Мрозов, и мы поехали обедать к Кжисе в Корницу.

Там я и завершила поиск семей моих спасителей.

После обеда мы вернулись в Седлице - надеялись оформить там Кжисе загранпаспорт, чтобы я могла ее взять с собой в Израиль. Чиновники полчаса ее допрашивали, так что из конторы мы выбрались в полном изнеможении. На обратном пути погуляли в парке у пруда, а затем вышли на улицу Берко Йосилевича. Там стоял скромный памятник с надписями по-польски и на идиш: "На этом месте были убиты 17000 евреев..." Все население мелких окрестных гетто, в том числе и вся родня моей мамы...А в польских семьях все три дня, пока на глазах у них шла эта бойня, продолжалась повседневная жизнь.

Мы с Кжисей возвращались поездом в Варшаву. В нашем купе какие-то молодые люди интеллигентной наружности во весь голос рассуждали о политике: бессмысленно бросать вызов русским: все знают, чем это может кончиться... А я слушала и удивлялась: как это они не боятся допустить, пусть даже теоретически, возможность бунта против тогда еще единого Советского Союза.

В Варшаве я еще раз встретилась с доктором Вильчуром; он обещал мне помочь в сборе материала для книги. Кроме того, я надеялась, что он сможет помочь мне и напишет письмо в соответствующее учреждение, с просьбой ускорить оформление Кжисе загранпаспорта. Во время нашей встречи доктор Вильчур упомянул, что его мать поплатилась жизнью за то, что укрывала евреев. Сам он почти всю жизнь преподавал. А недавно он побывал в Иерусалиме на процессе Демянюка и сейчас пишет об этом книгу.

Он познакомил меня с 80-летним Вацлавом Белявским, бывшим судьей. Тот подарил мне свою книгу с автографом, вышедшую совсем недавно, в которой описал преступления нацистов против тех, кто помогал евреям.

Белявский показал мне несколько дюжин писем с ответами из "Яд ваШем", в которых говорилось, что присланные им свидетельские данные о помощи, оказываемой евреям поляками во время Катастрофы, не являются



достаточно убедительными. Он сказал, что книгу свою он писал не ради денег, а ради восстановления исторической справедливости. Вацлав составил список из 1040 поляков, которые погибли, спасая евреев, и передал его Заяцковскому; а тот присоединил этот список к своему собственному и опубликовал в Канаде. В общем сводном списке был упомянуты уже три тысячи имен.

В ответ на эту публикацию Каролевский прислал ему из Канады длинный список с именами поляков, которые убивали евреев. Белявский провел расследование и пришел к выводу, что в большинстве случаев речь идет о непроверенной, неподтвержденной информации, однако на письмо отвечать не стал, не хотел портить отношения. Он написал еще одну книгу – о служителях Церкви, спасших жизнь многим евреям. Я пригласила его к себе в Израиль.

В первую нашу встречу я рассказала доктору Вильчуру о поляке, который выдал полиции мою мать, и тогда он пообещал мне незамедлительно начать расследование. Теперь же он сообщил, что человек тот погиб в автомобильной катастрофе. Что же до Кжисиного паспорта - тут он мне, к сожалению, ничем помочь не мог.

Познакомил он меня и с Михаилом Гинзбургом из варшавского Института Еврейской Истории, расположенного рядом с музеем Ленина. Гинзбург был очень вежлив, однако к разговору о моих исследованиях отнесся весьма скептически. Он сказал, что если бы мое утверждение о том, что будто бы сотни поляков боролись за жизнь каждого еврея, было верным, то наверняка удалось бы спасти не менее полумиллиона жизней. Чего на самом деле, как известно, не произошло. При этом в его голосе звучала горечь. По его мнению, в Польше евреям помогали лишь очень немногие люди; и не так уж это важно, чтобы о них узнала вся мировая общественность. Однако, он дал мне возможность поискать в его архиве документы, связанные с Лосице, и скопировать их.



В субботу я пошла в синагогу, разговорилась там с соседкой по скамейке, и та стала жаловаться мне на антисемитизм поляков. Я попыталась выяснить, что именно она понимает под антисемитизмом. Оказалось, что ее дочь вышла замуж за поляка, и его родственники попросили ее согласия на то, чтобы после смерти похоронить ее на польском кладбище. Я пригласила её поужинать вместе в понедельник вечером, и она согласилась.

В воскресенье я пошла в Еврейский Театр. Шла пьеса "Песнь об убитом народе" Исаака Каценельсона. Очень большое впечатление произвела на меня сцена в последнем действии, когда нацисты врываются в синагогу в Люблине. И билет был совсем не дорогой.

## ГЛАВА 18

23 сентября Кжисе каким-то чудом удалось получить загранпаспорт. На следующий день я поехала в Ченстохов к семье Файге, чтобы отпраздновать вместе с ними Рош-а-Шана – иудейский Новый год. К сожалению, никого из них я не застала. Йозеф Файге умер несколько месяцев назад. Когда-то он с женой и сыном часто приходил в монастырь навестить меня; а когда я пообещала молиться о них, он сказал, что в этом нет нужды: он и сам в душе непрестанно молится. Йозеф очень хотел окреститься, но считал, что если войдет в Церковь против воли своей жены – настоящим христианином все равно быть не сможет. Я его очень любила и уважала.

И еще я съездила в Краков – повидаться с сестрой Розой, с которой мы когда-то собирались в Индию. Она неважно себя чувствовала, но очень радушно приняла меня в своем монастыре – громадном, изрядно обветшавшем здании столетней давности.

Оттуда я рано утром поехала в пригород Кракова Безанов, к пани Бохневич, которой помогала когда-то лечиться от наркомании. Но дома был только ее муж. Он рассказал мне, что во время войны служил проводником на железной дороге и спас жизнь многим людям. Одну женщину с типично еврейской внешностью он переправил в Вену, другую семью – в Швейцарию. Немцы об этом так и не узнали, а полученные позже письма с благодарностями он не сохранил. Он был стар и беден. Я не стала дожидаться возвращения его жены – мне еще надо было успеть в Освенцим.

Добираться туда пришлось с пересадками. В Хирзанове я целый час ждала поезда, и я услышала от соседки по вокзальной скамейке рассказ о семье мясника-еврея, который во время войны оставил на попечение сестры моей собеседницы своего семилетнего сына. Но мальчик страшно тосковал по родителям. Он никак не мог понять, почему ему нельзя к ним, и так извел всех своими приставаниями, что ему, в конце концов, показали дорогу в их концлагерь, где он и сгинул. Родителям, вернувшимся после освобождения из концлагеря, объяснили все как есть. Они все поняли, не таили зла, а потом даже некоторое время переписывались с этой семьей – уже из Израиля. Теперь моя вокзальная знакомая просила меня отыскать их там.

Из окна вагона я видела товарные составы, груженные углем, и думала о поездах смерти, которые шли когда-то сюда... Колеса все так же стучали на стыках.

Проехали Биркенау. Я вышла на станции Освенцим. К бывшему лагерю вела длинная дорога. У одной из сторожевых вышек я увидела здание повыше прочих. Оказалось – это Кармель. (Сейчас его уже нет на территории бывшего лагеря – перевели в другое место, поскольку присутствие монастыря в Освенциме вызывало протест у евреев по всему миру – прим. перевод.). Хотя, перед тем, как устроить там монастырь, в здании сделали капитальный ремонт и даже разбили вокруг очень милый садик, - по внешнему виду самого здания нетрудно было определить его прежнее предназначение: склад баллонов “циклона В” (газа, который использовали в газовых камерах – прим. перевод.). Настоятельница, сестра Хелена, встретила меня приветливо. Мы долго беседовали в гостиной – недавно отремонтированной, отделанной светлым деревом. Хелена угощала меня бутербродами, фруктами из их сада, говорила, что очень рада видеть меня после 18 лет разлуки... Я слушала ее со странным чувством...

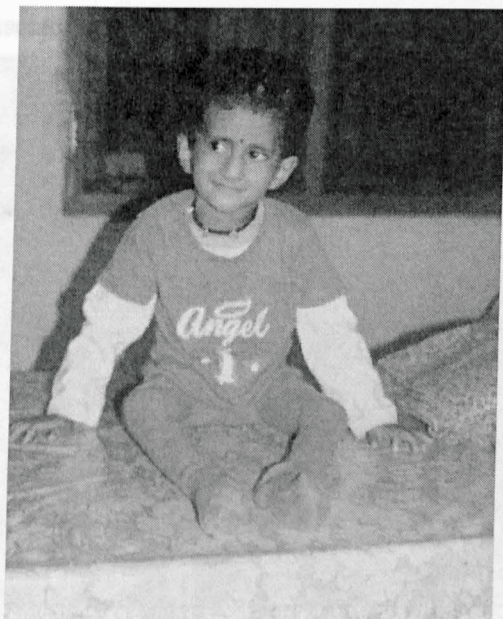
Когда я поступила в Кармель в Познани, - именно она была одной из тех, с кем я сразу же сблизилась. Она говорила, что завидует людям, укрывавшим евреев во время войны, что всегда хотела, чтобы и в их семье нашли убежище еврейские дети, поэтому и была очень рада, что еврейская девушка поступает в ее монастырь. Симпатизировала она и Даниэлю, он даже писал нам общие письма и присылал тексты молитв на иврите, написанные латинскими буквами, чтобы мы с ней могли молиться на этом языке. Брат её был женат на еврейке.



*Арти, девочка, удочеренная мной (2000)*

Так что, если уж говорить о Кармеле в Освенциме, то для него действительно трудно было бы найти более подходящую настоятельницу, чем сестра Хелена. Иное дело, что сама идея основать тут монастырь показалась мне довольно странной. Я сказала ей об этом. Она ответила, что одна из ее сестер (всего лишь одна) и в самом деле ушла: была не в силах видеть перед окном своей кельи пулеметную вышку.





*Арти в сиротском приюте( Индия,2004)*

Я пообещала заглянуть к ней перед уходом еще раз и отправилась посмотреть музей. Большое впечатление произвел на меня документальный фильм; сами же помещения, на которых нашли свой отпечаток старания многих стран, показались мне слишком чистыми и аккуратными для такого места. Я ощущала, что каждая страна стремилась немного сгладить общее впечатление от этого лагеря смерти и хотела представить его чуть ли не как "санаторий". Ничто там не говорило о нечеловеческих страданиях заключенных, только в одном из помещений были представлены кое-какие предметы их повседневного быта.

Смотритель музея сказал мне, что количество экспонатов уменьшается с каждым посещением его немецкой группой – они пытаются смягчить те чувства, что вызывает Освенцим. Но истертые ступени крематория говорили сами за себя...

В архив посетителей обычно не пускают, но мне разрешили войти. Смотритель отозвался на мою просьбу и обещал передать для меня сестре Хелене список поляков, попавших сюда за то, что помогали евреям.



*В деревне моего друга, Куманан, (Индия, 2000)*

На прощание я подарила сестре Хелене пять маленьких сувенирных свитков Торы и мезузу (футлярчик с цитатами из Торы, который иудеи, соблюдая библейскую заповедь, прикрепляют на дверь своего дома – прим. перевод.). Я убеждала ее, что если она повесит мезузу у входа в монастырь, он будет меньше шокировать евреев. Она ответила, что повесит ее только в том случае, если евреи оставят ее в покое со своими протестами. С тем я и вернулась в Краков.

На следующий день я еще раз побывала в Варшаве и зашла в Институт еврейской истории. После долгих поисков я, наконец, нашла там переписку между варшавским и американским комитетом “Джойнт” (Международная организация взаимопомощи евреев – прим. перевод.). Эта переписка велась между ними в то время, когда в гетто умирали сотни тысяч людей. Я заказала ксерокопию. На меня посмотрели с изумлением: кому и зачем понадобилось это старье?



*Доктор Мишра с семьей в гостях у своего Гуру (Индия, 2000)*

Прилавки магазинов в Варшаве были пусты, но мне, все же, удалось раздобыть утку для прощального обеда. Сестра Хелена дала мне с собой помидоры и фрукты из монастырского сада, но Тереза отказалась их есть - на крови выросли.

Я пришла к Терезе и ... обнаружила там Хелену Грушку-Каймерчак. Она полтора часа ждала на лестнице перед запертой дверью, - хотела еще раз увидеться со мной на прощанье. Я тоже была очень рада ее видеть - она так напоминала мне маму. Тут подъехала и Халина Луговская. "Евреечка ты моя", - сказала она, - "сколько ж я тебя вспоминала все эти годы!" Она была совсем не против поездки в Израиль и даже привезла мне копию письма, в котором она писала обо мне Дзидзичу. В нем она называет меня Вандой - именем моей любимой учительницы истории - то есть тем именем, под которым она меня знала. Ваңда тоже была вместе со всеми другими людьми, пришедшими спонтанно, не сговариваясь, попрощаться с еврейкой, которую они или их близкие спасали от смерти 40 лет назад.



Засиделись мы до поздней ночи, а утром муж Йопы отвез меня в аэропорт.

Только в самолете я смогла, - наконец-то, - прочесть письмо, которое дала мне Халина Луговская:

“Мой муж, Михаил Зигмунт Луговский - участник битвы за Варшаву - вернулся домой после поражения 1939 года... До войны он работал на фабрике по изготовлению противогазов, принадлежавшей богатому немцу. Теперь она закрылась. У нас было две дочки – трех и двух лет; а в то время во всей округе невозможно было достать ни молока, ни картошки: при штурме города все было разрушено. Поэтому Петр Даманский перевез нас из Прушкова в Хою, где жили родители мужа. Для нас было большой радостью вновь оказаться среди родных и друзей.

Я стала возить в Варшаву масло и сыр и продавать их там для еврейских столовых. Ездить было тяжело: поезда были набиты сельчанами; они, также как и я, хотели продать свои продукты в Варшаве. 13 км обратного пути от Седлице к дому приходилось проделывать пешком. Только мысль о детях и давала мне силы. Муж и его брат работали на стройке. Работа была тяжелая, а платили мало, так как много было дешевой рабочей силы – переселенцев из Западной Польши, которых немцы целыми семьями привозили в Седлице, а оттуда отправляли в Трешлинку.

Год спустя у меня родился сын. Ездить в Варшаву я уже не могла, а по карточкам нам в месяц доставалось на каждого по 10 кг муки и немного свеклы. Хелена Доманская была очень добра ко мне и давала молока для ребенка. Это было ужасное время. Моим транспортным средством был велосипед. Немцы опасались заходить в деревни.

В 1944 году ко мне как-то пришла мать моей подруги, пани Залевская. Она попросила приютить в нашем доме бедную сироту, которую Бохенский



привез из Сток Лясок от своего дяди Скорупки. Сказала, что девушка прекрасно вяжет.



*Мои соседи бедуины и моя польская подруга Тереза Листек (Хайфа, 1987)*

Я и сама сирота, - в чужих людях выросла. Так что мы устроили ей местечко на кухне, рядом с ребятишками. Назвалась она Вандой. Вязала и впрямь чудесно, и мы с ней прекрасно уживались. Когда у нас больше не осталось для нее работы, я отвела ее к Здунскому – с его экономкой мы когда-то вместе учились в школе. Связь с Вандой у меня после этого не сохранилась, и я не знала, как ей удалось выжить... Однако, она сама отыскала меня 40 лет спустя".



*Встреча еврейских и арабских женщин организации «Гешер» («Мост»)*

Я вернулась в Хайфу с чувством, что, словно никуда и не уезжала. Хотя эта поездка дала мне очень многое...

В День памяти Катастрофы я отправилась в кибуц Лохамей-а-Геттаот на встречу бывших повстанцев гетто; там я познакомилась с Хелой Руфайзен и ее мужем – братом о. Даниэля. Оба они были участниками Сопротивления в краковском подполье. Уже в Израиле она написала книгу воспоминаний "Прощание с улицей Мила, 18".

Я рассказала им, что провела месяц в Польше и никакого антисемитизма там не обнаружила. Но Хела, которая, оказывается, была в Польше одновременно со мной, рассказала мне совсем другую историю. В Кракове она встретила на улице своего бывшего соседа, который удивлялся: как это могло случиться, чтобы столько евреев осталось в живых. Мемориальная церемония в кибуце произвела на меня большое впечатление.





*С соседками бедуинками*

Польская почта не отличалась пунктуальностью, и потому, вопреки моим планам и намерениям, все мои гости прибыли в Израиль почти одновременно: трое из семьи Мрозов, внучка Радзиковских Ядзя, Кжися, Тереза, Халина с дочерью и племянницей, Войтек, Хелена Грушка-Каймерчак с внуком Чареком, и, наконец, Йола. Стало тесновато.

Я спешила показать им все, что у нас есть интересного. Даниэль устроил нам экскурсию в Тверию - там мы молились вместе с Малыми Сестрами. Все очень радовались, что удалось посетить святые места Иерусалима и Галилеи.

Хелену Грушку-Каймерчак с внуком я провожала в аэропорт. Так трудно было с ней расстаться – словно с матерью...

И сейчас, 8 февраля 1989 г., когда я пишу эти строки, глаза мои вновь наполняются слезами радости.

Я живу в Сионе, на Святой Земле.

Я по-прежнему храню верность Церкви, хотя уже и не нахожу в ней той безмятежной радости, как раньше, зная её ошибки и несовершенства. Но каждый из нас имеет право на критику; мы можем предлагать внести изменения и новшества в церковную жизнь.

И все же, несмотря на всю мою дочернюю критику, меня переполняет великое счастье, которое, верю, обязательно станет уделом всего человечества – это счастье обретения Бога.





Брат Даниэль на вершине горы Синай (1988)



На вершине горы Синай с дочерью Чеслава, моего крестного отца, и монахиней из Индии (1988)



У могилы брата Даниэля в деревне Самир (2003)



Встреча с моей еврейской подружкой в монастыре кармелиток в Назарете  
(2003)

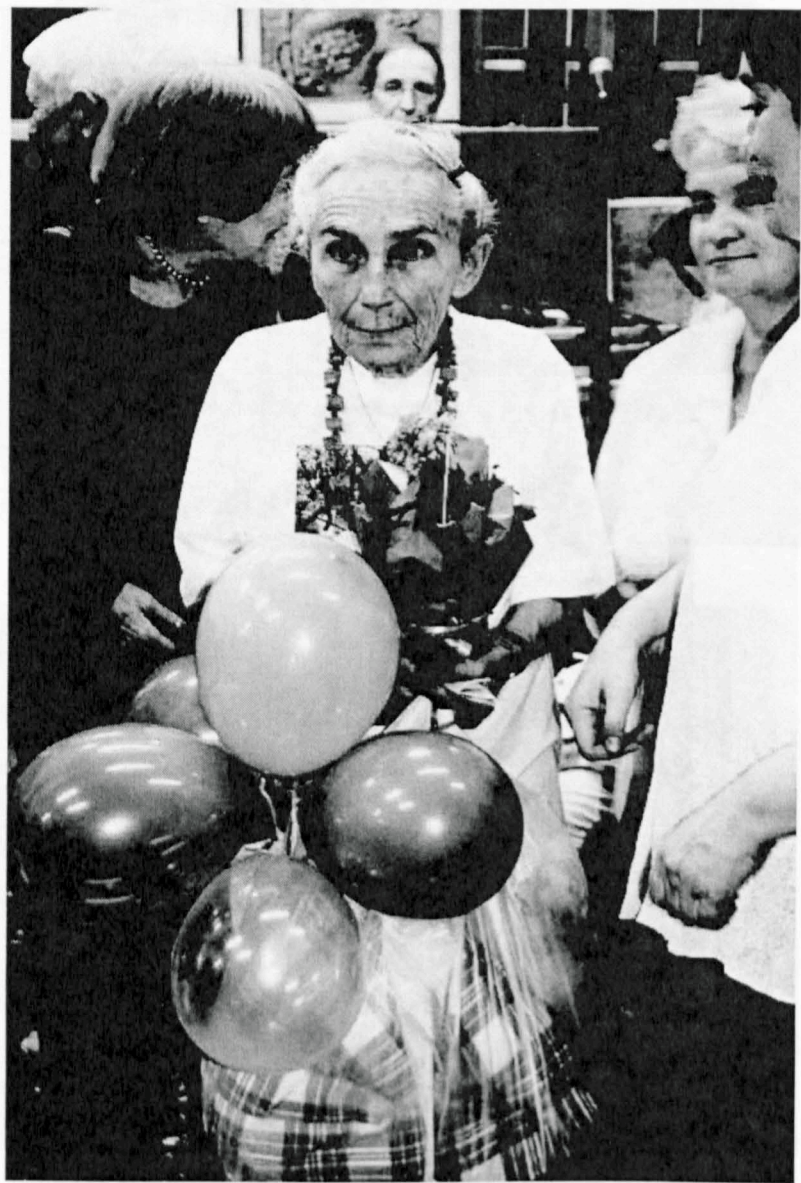




Пасхальный седер в моем восстановленном после пожара доме (2003)



Празднование моего дня рождения дома (1995)



День моего 80-летия в нашем общинном доме. 3.12.2005г.





С моим польским другом доктором Миреком на фоне Бахайских Садов  
(2003)



Радость найти «заблудшую овечку» (2003)

## Общественная акция протеста



Акция протеста «женщин в черном» в Хайфе  
(на «руке» написано: «Око за око до тех пор, пока не ослепнем»)





Демонстрация «женщин в черном» рядом с Бахайскими Садами



Демонстрация «женщин в черном» на площади





По окончании акции - чуть-чуть водички цветам

День работы в бедном квартале Халисса в Хайфе (2003)



Фотографии сделаны Яиром Жилем, [www.yairgil.com](http://www.yairgil.com)



История жизни Кохавы Цур (Стеллы),  
- "антисемитки" в гетто,  
"коммунистки" в монастыре,  
космополита среди «избранного  
народа», - души,  
взывающей к справедливости,  
миру и человеческому братству,  
души, распахнутой для любви.



Стелла родилась в Польше, в еврейской семье..Девочкой в дни Холокоста она бежала из лосицкого гетто и скрывалась в маленьких деревушках. Ей чудом удалось выжить, благодаря героизму крестьян, которые спасали ее, рискуя своей жизнью. Во время войны Стелла обратилась в христианскую веру, а по окончании войны решила посвятить себя Богу в монастыре Кармелиток, в Польше. В 1969г. она репатриировалась в Израиль, где, спустя два года, покинула монастырь. С тех пор ее жизнь была наполнена любовью и работой в любимой Хайфе.

«Стелла видела, как в гетто человек умирал от голода прямо у входа в кафе. Он совсем окоченел от холода. Она видела много страдания... Люди не получали помощи, посланной им... Хотя и сегодня мы можем видеть страдающих детей, умирающих от голода и не дождавшихся помощи, несмотря на все их надежды... Впрочем, были и те, кто спасал и помогал – праведники мира... И воспоминания Стеллы - это память об этих людях, о тех, кто был светлым лучом надежды для всех, в ком она еще оставалась. (Heinz Scheve, "Israel Nachrichten", 7.5.1993).

Это невозможно забыть. Это то, что остается в памяти навсегда. Это то, что она вспоминает в моменты, когда видит голод, отчаяние и нужду в помощи.